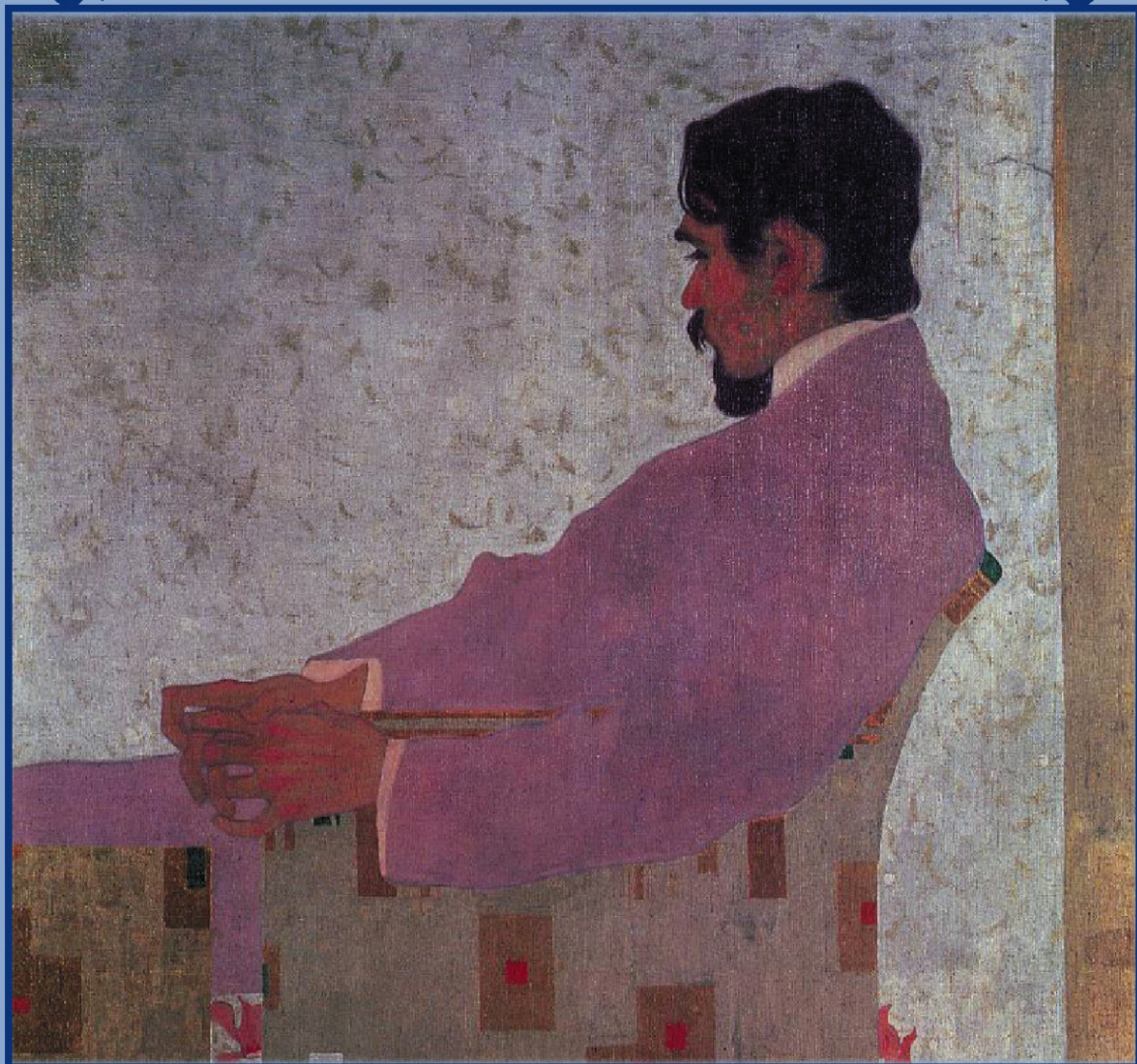


ГАЙТО  
**ГАЗДАНОВ**

Призрак Александра Вольфа  
Возвращение Будды



✦ РУССКАЯ КЛАССИКА ✦

Русская классика (АСТ)

Гайто Газданов

**Призрак Александра  
Вольфа. Возвращение Будды**

«Издательство АСТ»

1948, 1950

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Газданов Г.**

Призрак Александра Вольфа. Возвращение Будды / Г. Газданов —  
«Издательство АСТ», 1948, 1950 — (Русская классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-159141-0

Жарким днем 1919 года молодой солдат, спасая свою жизнь, убивает преследующего его всадника на белом коне. От этой встречи без свидетелей останутся лишь болезненное воспоминание и образ, всю жизнь преследующий героя, пока спустя годы, работая в Париже журналистом, он не прочитает рассказ, в деталях воспроизводящий историю с точки зрения жертвы. Так начинаются поиски неуловимого Александра Вольфа, в результате которых рассказчик оказывается вовлеченным в серию странных встреч и событий, заставляющих его размышлять о жизни, смерти, роковых совпадениях и неизбежности судьбы. В романе «Возвращение Будды» читателя ждет все тот же Париж русской эмиграции: переулки городских трущоб, воспоминания, головокружительные фантазии, бедный студент, загадочный бездомный, ставший миллионером благодаря неожиданному наследству, его молодая возлюбленная и единственный свидетель убийства – золотая статуэтка Будды... Автобиографичность, психологизм и традиции европейского экзистенциализма Газданов мастерски переплетает с элементами приключенческой прозы, философского триллера и детектива.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-159141-0

© Газданов Г., 1948, 1950

© Издательство АСТ, 1948, 1950

# Содержание

Призрак Александра Вольфа	7
Конец ознакомительного фрагмента.	42

**Гайто Газданов**  
**Призрак Александра**  
**Вольфа. Возвращение Будды**

© ООО «Издательство АСТ», 2023

## Призрак Александра Вольфа

Из всех моих воспоминаний, из всего бесконечного количества ощущений моей жизни самым тягостным было воспоминание о единственном убийстве, которое я совершил. С той минуты, что оно произошло, я не помню дня, когда бы я не испытывал сожаления об этом. Никакое наказание мне никогда не угрожало, так как это случилось в очень исключительных обстоятельствах и было ясно, что я не мог поступить иначе. Никто, кроме меня, вдобавок, не знал об этом. Это был один из бесчисленных эпизодов гражданской войны; в общем ходе тогдашних событий это могло рассматриваться как незначительная подробность, тем более что в течение тех нескольких минут и секунд, которые предшествовали этому эпизоду, его исход интересовал только нас двоих – меня и еще одного, неизвестного мне, человека. Потом я остался один. Больше в этом никто не участвовал.

Я не мог бы точно описать то, что было до этого, потому что все проходило в смутных и неверных очертаниях, характерных почти для всякого боя каждой войны, участники которого меньше всего представляют себе, что происходит в действительности. Это было летом, на юге России; шли четвертые сутки непрерывного и беспорядочного движения войск, сопровождавшегося стрельбой и перемещающимися боями. Я совершенно потерял представление о времени, я не мог бы даже сказать, где именно я тогда находился. Я помню только те ощущения, которые я испытывал и которые могли бы иметь место и в других обстоятельствах, – чувство голода, жажды и томительной усталости; я не спал перед этим две с половиной ночи. Стоял сильный зной, в воздухе колебался слабеющий запах дыма; час тому назад мы вышли из леса, одна сторона которого горела, и там, куда не доходил солнечный свет, медленно ползла огромная палевая тень. Мне смертельно хотелось спать, мне казалось тогда, что самое большое счастье, какое только может быть, это остановиться, лечь на выжженную траву и мгновенно заснуть, забыв обо всем решительно. Но именно этого нельзя было делать, и я продолжал идти сквозь горячую и сонную муть, изредка глотая слюну и протирая время от времени воспаленные бессонницей и зноем глаза.

Я помню, что, когда мы проходили через небольшую рощу, я на секунду, как мне показалось, прислонился к дереву и стоя заснул под звуки стрельбы, к которым я давно успел привыкнуть. Когда я открыл глаза, вокруг меня не было никого. Я пересек рощу и пошел по дороге, в том направлении, в котором, как я полагал, должны были уйти мои товарищи. Почти тотчас же меня перегнал казак на быстром гнедом коне, он махнул мне рукой и что-то невнятно прокричал. Через некоторое время мне посчастливилось найти худую вороную кобылу, хозяин которой был, по-видимому, убит. На ней были уздечка и казачье седло; она щипала траву и беспрестанно обмахивалась своим длинным и жидким хвостом. Когда я сел на нее, она сразу пошла довольно резвым карьером.

Я ехал по пустынной извивающейся дороге; изредка попадались небольшие рощицы, скрывавшие от меня некоторые ее изгибы. Солнце было высоко, воздух почти звенел от жары. Несмотря на то, что я ехал быстро, у меня сохранилось неверное воспоминание о медленности всего происходившего. Мне по-прежнему так же смертельно хотелось спать, это желание наполняло мое тело и мое сознание, и от этого все казалось мне томительным и долгим, хотя в действительности, конечно, не могло быть таким. Боя больше не было, было тихо; ни позади, ни впереди меня я не видел никого. И вот на одном из поворотов дороги, загибавшейся в этом месте почти под прямым углом, моя лошадь тяжело и мгновенно упала на всем скаку. Я упал вместе с ней в мягкое и темное – потому что мои глаза были закрыты – пространство, но успел высвободить ногу из стремя и почти не пострадал при падении. Пуля попала ей в правое ухо и пробила голову. Поднявшись на ноги, я обернулся и увидел, что не очень далеко за мной тяжелым и медленным, как мне показалось, карьером ехал всадник на огромном белом коне.

Я помню, что у меня давно не было винтовки, я, наверное, забыл ее в роще, когда спал. Но у меня оставался револьвер, который я с трудом вытащил из новой и тугой кобуры. Я простоял несколько секунд, держа его в руке; было так тихо, что я совершенно отчетливо слышал сухие всхлипывания копыт по растрескавшейся от жары земле, тяжелое дыхание лошади и еще какой-то звон, похожий на частое встряхивание маленькой связки металлических колец. Потом я увидел, как всадник бросил поводья и вскинул к плечу винтовку, которую до тех пор держал наперевес. В эту секунду я выстрелил. Он дернулся в седле, сполз с него и медленно упал на землю. Я оставался неподвижно там, где стоял, рядом с трупом моей лошади, две или три минуты. Мне все так же хотелось спать, и я продолжал ощущать ту же томительную усталость. Но я успел подумать, что не знаю, что ждет меня впереди и долго ли еще буду жив, – и неудержимое желание увидеть, кого я убил, заставило меня сдвинуться с места и подойти к нему. Ни одно расстояние, никогда и нигде, мне не было так трудно пройти, как эти пятьдесят или шестьдесят метров, которые отделяли меня от упавшего всадника; но я все-таки шел, медленно переставляя ноги по растрескавшейся, горячей земле. Наконец я приблизился к нему вплотную. Это был человек лет двадцати двух – двадцати трех; шапка его отлетела в сторону, белокурая его голова, склоненная набок, лежала на пыльной дороге. Он был довольно красив. Я наклонился над ним и увидел, что он умирает; пузыри розовой пены вскакивали и лопались на его губах. Он открыл свои мутные глаза, ничего не произнес и опять закрыл их. Я стоял над ним и смотрел в его лицо, продолжая держать немеющими пальцами ненужный мне теперь револьвер. Вдруг легкий порыв жаркого ветра донес до меня издали едва слышимый топот нескольких лошадей. Я вспомнил тогда об опасности, которая могла мне еще угрожать. Белый конь умирающего, настороженно подняв уши, стоял в нескольких шагах от него. Это был огромный жеребец, очень выхоленный и чистый, с чуть потемневшей от пота спиной. Он отличался исключительной резвостью и выносливостью; я продал его за несколько дней до того, как покинул Россию, немецкому колонисту, который снабдил меня большим количеством провизии и заплатил мне крупную сумму ничего не стоящих денег. Револьвер, из которого я стрелял, – это был прекрасный парабеллум, – я выбросил в море, и от всего этого у меня не осталось ничего, кроме тягостного воспоминания, которое медленно преследовало меня всюду, куда заносила меня судьба. По мере того, однако, как проходило время, оно постепенно тускнело и почти утратило под конец свой первоначальный характер непоправимого и жгучего сожаления. Но все-таки забыть это я никогда не мог. Много раз, – независимо от того, происходило ли это летом или зимой, на берегу моря или в глубине европейского континента, – я, не думая ни о чем, закрывал глаза, и вдруг из глубины моей памяти опять возникал этот знойный день на юге России, и все мои тогдашние ощущения с прежней силой возвращались ко мне. Я видел снова эту розово-серую громадную тень лесного пожара и медленное ее смещение в треске горящих сучьев и ветвей, я чувствовал эту незабываемую, томительную усталость и почти непреодолимое желание спать, беспощадный блеск солнца, звенящую жару, наконец, немое воспоминание моих пальцев правой руки о тяжести револьвера, ощущение его шероховатой рукоятки, точно навсегда отпечатавшееся на моей коже, легкое покачивание черной мушки перед моим правым глазом – и потом эта белокурая голова на серой и пыльной дороге и лицо, измененное приближением смерти, той самой смерти, которую именно я, секунду тому назад, вызвал из неведомого будущего.

В те времена, когда это происходило, мне было шестнадцать лет – и, таким образом, это убийство было началом моей самостоятельной жизни, и я даже не уверен в том, что оно не наложило невольного отпечатка на все, что мне было суждено узнать и увидеть потом. Во всяком случае, обстоятельства, сопровождавшие его и все, что было с ним связано, – все возникло передо мной с особенной отчетливостью через много лет в Париже. Это случилось потому, что мне попал в руки сборник рассказов одного английского автора, имени которого я до сих пор никогда не слышал. Сборник назывался «Я приду завтра» – «I'll Come To-morrow», – по

первому рассказу. Их всего было три: «Я приду завтра», «Золотые рыбки» и «Приключение в степи», «The Adventure in the Steppe». Это было очень хорошо написано, особенно замечательны были упругий и безошибочный ритм повествования и своеобразная манера видеть вещи не так, как их видят другие. Но ни «Я приду завтра», ни «Золотые рыбки» не могли, однако, возбудить во мне никакого личного интереса, кроме того, который был естественен для всякого читателя. «Я приду завтра» был иронический рассказ о неверной женщине, о неудачной ее лжи и о тех недоразумениях, которые за этим последовали. «Золотые рыбки» – действие происходило в Нью-Йорке – это был, собственно говоря, диалог между мужчиной и женщиной и описание одной музыкальной мелодии; горничная забыла снять небольшой аквариум с центрального отопления, рыбки выскакивали из очень нагретой воды и бились на ковре, умирая, а участники диалога этого не замечали, так как она была занята игрой на рояле, а он – тем, что слушал ее игру. Интерес рассказа заключался во введении музыкальной мелодии как сентиментального и неопровержимого комментария и невольного участия в этом бьющихся на ковре золотых рыбок.

Но меня поразил третий рассказ: «Приключение в степи». Эпиграфом к нему стояла строка из Эдгара По: «Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple»<sup>1</sup>. Этого одного было достаточно, чтобы привлечь мое внимание. Но я не могу передать чувства, которое овладевало мной по мере того, как я читал. Это был рассказ об одном из эпизодов войны; он был написан без какого бы то ни было упоминания о стране, в которой это происходило, или о национальности его участников, хотя, казалось бы, одно его название, «Приключение в степи», указывало на то, что это как будто должно было быть в России. Он начинался так: «Лучшая лошадь, которая мне когда-либо принадлежала, был жеребец белой масти, полукровка, очень крупных размеров, отличавшийся особенно размашистой и широкой рысью. Он был настолько хорош, что мне хотелось бы его сравнить с одним из тех коней, о которых говорится в Апокалипсисе. Это сходство, вдобавок, подчеркивалось тем, – для меня лично, – что именно на этой лошади я ехал карьером навстречу моей собственной смерти, по раскаленной земле, в одно из самых жарких лет, какие я знал за всю мою жизнь».

Я нашел там точное восстановление всего, что я переживал в далекие времена гражданской войны в России, и описание этих невыносимо жарких дней, когда происходили наиболее длительные и наиболее жестокие бои. Я дошел, наконец, до последних страниц рассказа; я читал их с почти остановившимся дыханием. Там я узнал мою вороную кобылу и тот поворот дороги, на котором она была убита. Человек, от лица которого велся рассказ, был убежден сначала, что всадник, упавший вместе с лошадью, был по меньшей мере тяжело ранен – так как он стрелял два раза и ему казалось, что он оба раза попал. Я не понимаю, почему я заметил только один выстрел. «Но он не был убит, ни даже, по-видимому, ранен, – продолжал автор, – потому что я видел, как он поднялся на ноги; в ярком солнечном свете я заметил, как мне показалось, темный отблеск револьвера в его руке. У него не было винтовки, это я знаю наверное».

Белый жеребец продолжал идти своим тяжелым карьером, приближаясь к тому месту, где с непонятной, как писал автор, неподвижностью, парализованный, быть может, страхом, стоял человек с револьвером в руке. Потом автор задержал стремительный ход коня и приложил винтовку к плечу, но вдруг, не услышав выстрела, почувствовал смертельную боль неизвестно где и горячую тьму в глазах. Через некоторое время сознание вернулось к нему на одну короткую и судорожную минуту, и тогда он услышал медленные шаги, которые приближались к нему, но все мгновенно опять провалилось в небытие. Еще через какой-то промежуток времени, находясь уже почти в предсмертном бреду, он, непостижимо как, почувствовал, что над ним кто-то стоит.

---

<sup>1</sup> «Подо мною лежит мой труп со стрелой в виске» (англ.).

«Я сделал нечеловеческое усилие, чтобы открыть глаза и увидеть, наконец, мою смерть. Мне столько раз снилось ее страшное, железное лицо, что я не мог бы ошибиться, я узнал бы всегда эти черты, знакомые мне до мельчайших подробностей. Но теперь я с удивлением увидел над собой юношеское и бледное, совершенно мне неизвестное лицо с далекими и сонными, как мне показалось, глазами. Это был мальчик, наверное, четырнадцати или пятнадцати лет, с обыкновенной и некрасивой физиономией, которая не выражала ничего, кроме явной усталости. Он простоял так несколько секунд, потом положил свой револьвер в кобуру и отошел. Когда я снова открыл глаза и в последнем усилии повернул голову, я увидел его верхом на моем жеребце. Потом я опять лишился чувств и пришел в себя только много дней спустя, в госпитале. Револьверная пуля пробила мне грудь на полсантиметра выше сердца. Мой апокалиптический конь не успел довезти меня до самой смерти. Но до нее, я думаю, оставалось очень недалеко, и он продолжал это путешествие, только с другим всадником на спине. Я бы дорого дал за возможность узнать, где, когда и как они оба встретили смерть и пригодился ли еще этому мальчику его револьвер, чтобы выстрелить в ее призрак. Я, впрочем, не думаю, чтобы он вообще хорошо стрелял, у него был не такой вид; то, что он попал в меня, было, скорее всего, случайно, но, конечно, я был бы последним человеком, который бы его в этом упрекнул. Я не сделал бы этого еще и потому, что, я думаю, он, наверное, давно погиб и растворился в небытии, – верхом на белом жеребце, – как последнее видение этого приключения в степи».

Для меня почти не оставалось сомнений, что автор рассказа и был тем бледным и неизвестным человеком, в которого я тогда стрелял. Объяснить полное сходство фактов со всеми их характерными особенностями, вплоть до масти и описания лошадей, только рядом совпадений было, мне казалось, невозможно. Я еще раз посмотрел на обложку: «I'll Come To-morrow», by Alexander Wolf. Это мог быть, конечно, псевдоним. Но это меня не останавливало; мне хотелось непременно встретиться с этим человеком. Тот факт, что он оказался английским писателем, был тоже удивителен. Правда, Александр Вольф мог быть моим соотечественником и достаточно хорошо владеть английским языком, чтобы не прибегать к помощи переводчика, это было самое вероятное объяснение. Во всяком случае, я хотел выяснить все это во что бы то ни стало, потому что, в конце концов, я был связан с этим человеком, не зная его совершенно, слишком давно и слишком прочно и воспоминание о нем прошло сквозь всю мою жизнь. По его рассказу к тому же было ясно, что он должен был питать ко мне почти такой же интерес, именно оттого, что «Приключение в степи» имело очень важное значение в его существовании и, наверное, предопределило его судьбу еще в большей степени, чем мое воспоминание о нем предопределило ту исчезающую тень, которая омрачила много лет моей жизни.

Я написал ему письмо на адрес лондонского издательства, впустившего его книгу. Я изложил те факты, которые ему были неизвестны, и просил его ответить мне, где и когда мы могли бы с ним встретиться, – если, конечно, это свидание интересует его так же, как меня. Прошел месяц, ответа не было. Было возможно, конечно, что он бросил мое письмо в корзину, не читая и предполагая, что это послано какой-нибудь поклонницей его таланта и заключает в себе просьбу прислать свою фотографию с надписью и сообщить мнение о собственном романе корреспондентки, который она ему пошлет или прочтет лично, как только получит от него ответ. Это казалось в какой-то мере вероятно еще и потому, что, несмотря на несомненное и настоящее искусство, с которым была написана книга, в ней была, я думаю, какая-то особенная привлекательность и для женщин. Но так или иначе, ответа я не получил.

Ровно через две недели после этого мне представилась неожиданная возможность поехать в Лондон для небольшого репортажа. Я пробыл там три дня и улучил время, чтобы зайти в издательство, напечатавшее книгу Александра Вольфа. Меня принял директор. Это был полный человек лет пятидесяти, представлявший из себя по типу нечто среднее между банкиром и профессором. Он бегло говорил по-французски. Я изложил ему причину моего

визита и рассказал в нескольких словах, как я прочел «Приключение в степи» и почему этот рассказ меня заинтересовал.

– Мне хотелось узнать, получил ли мистер Вольф мое письмо.

– Мистера Вольфа сейчас нет в Лондоне, – сказал директор, – и мы, к сожалению, лишены в данный момент возможности с ним сноситься.

– Это начинает становиться похожим на детективный роман, – сказал я не без некоторой досады. – Я не буду злоупотреблять вашим временем и пожелаю вам всего хорошего. Могу ли я рассчитывать на то, что, когда ваш контакт с мистером Вольфом возобновится, – если это когда-нибудь произойдет, – вы напомните ему о моем письме?

– Вы можете быть совершенно спокойны, – поспешно ответил он. – Но я бы хотел прибавить одну существенную вещь. Я понимаю, что ваш интерес к личности мистера Вольфа носит совершенно бескорыстный характер. И вот я должен вам сказать, что мистер Вольф не может быть тем человеком, которого вы имеете в виду.

– До сих пор я был почти уверен в противоположном.

– Нет, нет, – сказал он. – Насколько я понимаю, это должен быть ваш соотечественник?

– Это было бы вероятнее всего.

– В таком случае это совершенно исключено. Мистер Вольф англичанин, я знаю его много лет и могу за это поручиться. К тому же он никогда не покидал Англии больше чем на две или три недели, которые он проводил, чаще всего, во Франции или в Италии. Дальше он не ездил, я знаю это наверное.

– Значит, все это недоразумение, хотя меня это удивляет, – сказал я.

– Что же касается рассказа «Приключение в степи», то он вымышлен с первой до последней строки.

– В конце концов, это не невозможно.

В течение последних минут разговора я стоял, собираясь уходить. Директор тоже поднялся с кресла и вдруг сказал, особенно понизив голос:

– Конечно, «Приключение в степи» вымышлено. Но если бы это была правда, то я не могу вам не сказать, что вы поступили с непростительной небрежностью. Вы должны были целиться лучше. Это бы избавило от ненужных осложнений и мистера Вольфа, и некоторых других лиц.

Я с удивлением смотрел на него. Он улыбнулся очень натянутой улыбкой, которая показалась мне абсолютно неуместной.

– Правда, вы были слишком молоды и обстоятельства извиняют неточность вашего прицела. И потом все это, конечно, – со стороны мистера Вольфа, – только работа воображения, так случайно совпавшая с вашей действительностью. Желаю вам всего хорошего. Если у меня будут новости, я вам их сообщу. Разрешите мне прибавить еще одно; я значительно старше вас, и мне кажется, что я имею на это некоторое право. Уверяю вас, что знакомство с мистером Вольфом, если бы оно произошло, не принесло бы вам ничего, кроме разочарования, и не имело бы того интереса, который вы ему напрасно придаете.

Этот разговор не мог не произвести на меня чрезвычайно странного впечатления. Из него было ясно, что у директора издательства были какие-то личные счеты с Вольфом и настоящие – или воображаемые – причины его ненавидеть. То, что он почти упрекнул меня в недостаточном точном выстреле, звучало в устах этого полного и мирного человека по меньшей мере неожиданно. Так как книга была выпущена два года тому назад, то надо полагать, что события, заставившие директора изменить свое отношение к Вольфу, произошли именно в этот промежуток времени. Но все это, конечно, не могло мне дать никакого представления об авторе сборника «Я приду завтра», единственное, что я узнал, это было отрицательное мнение о нем директора издательства, вдобавок явно пристрастное. Я еще раз внимательно прочел книгу, мое впечатление не изменилось: тот же стремительный и гибкий ритм рассказа, та же удачность

определений, то же безошибочное и, казалось, раз навсегда найденное соединение сюжетного матерьяла с очень короткими и выразительными авторскими комментариями.

Я не мог бы сказать, что я примирился с невозможностью узнать о Вольфе то, что меня интересовало, но я просто не видел, как это сделать. Со времени моего странного лондонского разговора прошел уже целый месяц, и я почти не сомневался, что рассчитывать на ответ Вольфа не следует, – может быть, вообще никогда и, во всяком случае, в ближайшем будущем. И я почти перестал думать об этом.

Я жил в те времена совершенно один. В числе ресторанов, где я обедал или завтракал, – их было четыре, в разных частях города, – был небольшой русский ресторан, самый близкий от моего дома и в котором я бывал несколько раз в неделю. Я пришел туда в Сочельник, приблизительно в десять часов вечера. Все столики были заняты, оставалось одно свободное место – в самом далеком углу, где одиноко сидел празднично одетый пожилой мужчина, которого я хорошо знал по виду, так как он был постоянным посетителем этого ресторана. Он всегда являлся с разными дамами, трудноопределимого в нескольких словах типа, но для жизни которых был, чаще всего, характерен какой-то перерыв в их деятельности: если это была артистка, то бывшая артистка, если певица, то у нее недавно испортился голос, если просто кельнерша, то вышедшая замуж некоторое время тому назад. У него была репутация донжуана – и я думаю, что среди этого круга женщин он, наверное, действительно пользовался успехом. Поэтому меня особенно удивило, что в такой день он был один. Но так или иначе, мне предложили место за его столиком, и я сел против него, поздоровавшись с ним за руку, чего раньше мне не приходилось делать.

Он был несколько мрачен, глаза его начинали мутнеть. После того как я сел, он выпил почти подряд три рюмки водки и внезапно повеселел. Кругом громко разговаривали люди, ресторанный граммофон играл одну пластинку за другой. В то время как он наливал себе четвертую рюмку, граммофон начал минорную французскую песенку:

Il pleut sur la route,  
Le cœur en déroute.<sup>2</sup>

Он внимательно слушал, наклонив голову набок. Когда пластинка дошла до слов:

Malgré le vent, la pluie,  
Vraiment si tu m'aimes...<sup>3</sup>

он даже прослезился. Только тогда я заметил, что он уже очень пьян.

– Этот романс, – произнес он неожиданно громким голосом, обращаясь ко мне, – вызывает у меня некоторые воспоминания.

Я заметил, что на диванчике, где он сидел, рядом с ним лежала завернутая в бумагу книга, которую он несколько раз переключивал с места на место, явно заботясь о том, чтобы ее не помять.

– Я думаю, что у вас вообще довольно много воспоминаний.

– Почему вам так кажется?

---

<sup>2</sup> На улице идет дождь, И сердцу не по себе (фр.).

<sup>3</sup> Пусть будет ветер, пусть дождь, Только люби меня (фр.).

– Вид у вас такой, по-моему.

Он засмеялся и подтвердил, что, действительно, воспоминаний у него довольно много. Он находился в припадке откровенности и необходимости поговорить, особенно характерном именно для выпивших людей его размашистого типа. Он начал мне рассказывать свои любовные приключения, причем во многих случаях явно, как мне казалось, фантазировал и преувеличивал. Меня, однако, приятно удивило то, что ни об одной из своих многочисленных жертв он не отзывался дурно; во всех его воспоминаниях было нечто вроде смеси разгула с нежностью. Это был очень особенный оттенок чувства, характерный именно для него, в нем была несомненная и невольная привлекательность, и я понял, почему этот человек мог, действительно, иметь успех у многих женщин. Несмотря на внимание, с которым я следил за его рассказом, я не мог точно запомнить нестройную и случайную последовательность женских имен, которые он приводил. Потом он вздохнул, прервал сам себя и сказал:

– Но лучше за всю жизнь не было, чем моя цыганочка, Марина.

Он вообще часто употреблял уменьшительные слова, говоря о женщинах: цыганочка, девочка, блондиночка, черненькая, быстренькая, – так, что со стороны получалось впечатление, что он все рассказывает о каких-то подростках.

Он долго описывал мне Марину, которая, по его словам, обладала всеми решительно достоинствами, что само по себе было довольно редко; но удивительнее всего мне казалось, что она ездила верхом лучше любого жокея и без промаха стреляла из ружья.

– Как же вы решили с ней расстаться? – спросил я.

– Это не я решил, милый друг, – сказал он. – Ушла от меня смугляночка, и недалеко ушла, к соседу. Вот, – он показал мне завернутую книгу, – к нему и ушла.

– К автору этой книги?

– А к кому же другому?

– Можно посмотреть? – сказал я, протягивая руку.

– Пожалуйста.

Я развернул бумагу – и мне сразу бросилось в глаза знакомое сочетание букв: «I'll Come To-morrow», by Alexander Wolf.

Это было в такой же степени неожиданно, как удивительно. Я молчал несколько секунд, продолжая смотреть на заглавие. Потом я спросил:

– Вы уверены, что приказчик в магазине не ошибся и не дал вам что-то другое?

– Помилуйте, – сказал он, – какая же тут может быть ошибка? Я по-английски не читаю, но уж в этом, будьте уверены, не ошибусь.

– Я знаю эту книгу, но мне недавно сказали, что ее автор англичанин.

Он опять засмеялся.

– Саша Вольф англичанин! Тогда почему, черт возьми, не японец?

– Вы говорите – Саша Вольф?

– Саша Вольф, Александр Андреевич, если хотите. Такой же англичанин, как мы с вами.

– Вы хорошо его знаете?

– Еще бы не знать!

– Вы давно его видели в последний раз?

– В прошлом году, – сказал он, наливая себе водки. – Ваше здоровье. В прошлом году, в это же время приблизительно. Как закатились мы тогда на Монмартр, так там двое суток и оставались. Я уж и не помню, что было и как я домой попал. Это каждый раз, когда он в Париж попадает. Я, знаете, сам не прочь выпить и – как бы это сказать? – порезвиться, но уж он слишком. Я ему говорю – Саша, побойся ты Бога. А он отвечает всегда одинаково – жизнь, говорит, у нас только одна, и та очень скверная, так какого же черта? Что вы на это скажете? Приходится соглашаться.

Он был уже совсем пьян, его язык начинал заплетаться.

– Он, значит, живет не в Париже?

– Нет, он все больше в Англии, хотя его повсюду носит. Я ему говорю: отчего, дьявол, по-русски не пишешь? Мы бы почитали. Говорит, нет смысла, по-английски выгоднее, платят лучше.

– А что же было с Мариной?

– Время у вас есть?

– Сколько хотите.

Тогда он начал рассказывать во всех подробностях о Марине, об Александре Вольфе, о том, когда и как все это происходило. Это был беспорядочный и довольно цветистый рассказ, который изредка прерывался тем, что он пил то за здоровье Вольфа, то за здоровье Марины. Он говорил много и долго, и, несмотря на то, что это было лишено хронологической последовательности, я мог составить себе более или менее отчетливое представление обо всем.

Александр Вольф был моложе этого человека, – его звали Владимир Петрович Вознесенский, он был духовного происхождения, – на пять или шесть лет. Он был из Москвы или, может быть, из других мест, но, во всяком случае, с севера России. Вознесенский познакомился с ним в конном отряде товарища Офицера, левого революционера с уклоном к анархизму. Отряд этот вел партизанскую войну на юге России.

– Против кого? – спросил я.

– Вообще против всяких войск, которые пытались захватить незаконную власть, – сказал Вознесенский с неожиданной твердостью.

Насколько я понял, никакой определенной политической цели товарищ Офицеров не преследовал. Это был один из тех авантюристов очень чистого типа, которых знает история каждой революции и каждой гражданской войны. Численность его отряда то увеличивалась, то уменьшалась – в зависимости от обстоятельств, большего или меньшего количества трудностей, времени года и множества других, нередко случайных, причин. Но основная его группа всегда была одна и та же, и Александр Вольф был ближайшим сотрудником Офицера. Он отличался, по словам Вознесенского, некоторыми, классическими в таких рассказах, качествами: неизменной храбростью, неутомимостью, способностью очень много пить и был, конечно, хорошим товарищем. В отряде Офицера он провел больше года. За это время им пришлось жить в самых разных условиях: в крестьянских избах и в помещичьих домах, в поле и в лесу; иногда они голодали по несколько дней, иногда непомерно объедались, страдали от холода зимой и от жары летом, – словом, это было то, что известно по опыту почти всякому участнику сколько-нибудь длительной войны. Вольф, в частности, был чрезвычайно аккуратен и чистоплотен – до сих пор не понимаю, когда он успевал бриться каждый день, – сказал Вознесенский; он умел играть на рояле, мог пить чистый спирт, очень любил женщин и никогда не играл в карты. Он знал по-немецки, это выяснилось однажды, когда Вознесенский и он попали к немецким колонистам и старуха, хозяйка фермы, не говорившая по-русски, собиралась послать свою дочь на подводе в ближайший город, за три километра, чтобы сообщить там штабу советской дивизии, что в деревне находятся два вооруженных партизана. Она сказала все это дочери по-немецки, в присутствии Вознесенского и Вольфа.

– Что же было дальше?

– Он мне тогда ничего не рассказал, только девчоночку мы не пустили, связали и отнесли на чердак, потом забрали провизию и ушли.

По словам Вознесенского, Вольф, уходя, покачал головой и сказал: – Эх, старуха какая! – Что ж ты ее не пристрелил? – спросил Вознесенский позже, когда Вольф объяснил ему, в чем дело. – Будь она проклята, – сказал Вольф, – ей и так жить недолго осталось, ее без нас с тобой Бог приберет.

Вольфу очень везло на войне; из самых опасных положений ему удавалось уходить совершенно невредимым.

– Он ни разу не был ранен? – спросил я.

– Один только раз, – сказал Вознесенский, – но зато так, что я собирался панихиду служить. Это не *façon de parler*<sup>4</sup>, как говорят французы; доктор объявил, что Саше осталось несколько часов жизни.

Но доктор ошибся; Вознесенский объяснял это тем, что он недооценил сопротивляемость Вольфа. Вознесенский прибавил, что Вольф был ранен в совершенно загадочных обстоятельствах, о которых он ничего не хотел сказать, ссылаясь на то, что не помнит, как это произошло. Тогда были жестокие бои между частями красной армии и отступавшими белыми; отряд Офицерова скрывался в лесах и не принимал в этом никакого участия. Приблизительно через час после того, как замолкли последние выстрелы, Вольф заявил, что поедет на разведку, и уехал один. Прошло часа полтора, он не возвращался. Вознесенский с двумя товарищами отправился его разыскивать. За некоторое время до этого они слышали три выстрела, третий был более далекий и слабый, чем два первых. Они проехали две или три версты по пустынной дороге, все было тихо, нигде не было видно никого. Стояла сильная жара. Вознесенский первый увидел Вольфа; Вольф лежал неподвижно поперек дороги и «хрипел кровью и пеной», как он сказал. Лошадь его пропала, что тоже было удивительно; она обычно ходила за ним, как собака, и никогда бы по доброй воле не ушла.

– Вы не помните, какая это была лошадь? какой масти?

Вознесенский задумался, потом сказал:

– Нет, не вспомню. Давно это было, черт его знает. Он их много переменил.

– Но как же, вот вы говорите, что она ходила за ним, как собака.

– А это у него был такой талант, – сказал Вознесенский, – все его лошади так. Знаете, бывают люди, которых никогда не трогают собаки, даже самые злые. А у него был такой же дар к лошадям.

И Вознесенскому, и его товарищам представлялись чрезвычайно странными обстоятельства, при которых Вольф был так тяжело ранен. Доктор говорил потом, что рана была от револьверной пули, выстрел был сделан с небольшого расстояния, и Вольф не мог, конечно, не видеть того, кто в него стрелял. Главное, не было никакого боя и никого вокруг; только недалеко от того места, где они нашли Вольфа, лежал труп нерасседланной вороной кобылы. Вознесенский предполагал, что в Вольфа стрелял, по-видимому, человек, которому принадлежала эта лошадь, и он же потом уехал на так необъяснимо пропавшем коне Вольфа. Он прибавил, что если бы они, Вознесенский и его спутники, не опоздали, то не пожалели бы пуль, чтобы отомстить за товарища. Я вспомнил порыв горячего ветра, донесший до меня далекий топот нескольких лошадей – тот самый звук, который заставил меня тотчас же уехать.

– А может быть, в конце концов, – неожиданно сказал Вознесенский, – этот человек просто защищал свою жизнь и его тоже нельзя обвинять. Предлагаю вам по этому случаю чокнуться за его здоровье. Вам нужно выпить, у вас что-то очень задумчивый вид.

Я молча кивнул головой. Низкий женский голос в это время пел из граммофона:

Не надо ничего,  
Ни поздних сожалений...

Был уже первый час ночи, в воздухе стоял холодноватый запах шампанского, маленькие облачка духов; пахло еще жареным гусем и печеными яблоками. С улицы доносились заглушенные автомобильные гудки, за ресторанной витриной, отделенная от нас только стеклом,

---

<sup>4</sup> Оборот речи (*фр.*).

начиналась зимняя ночь, с этим блеклым и холодным светом фонарей, отражавшимся на влажной парижской мостовой. И я видел перед собой, с необъяснимо печальной отчетливостью, жаркий летний день, растрескавшуюся черно-серую дорогу, медленно, как во сне, кружившую между маленькими рощами, и неподвижное тело Вольфа, лежащее на горячей земле после этого смертельного падения.

Вознесенский привез его в маленький бело-зеленый городок – белый от цвета домов, зеленый от деревьев – над Днепром и устроил его в больницу. Доктор сказал Вознесенскому, что Вольфу осталось несколько часов жизни. Но через три недели он вышел из больницы с ввалившимися щеками и густой щетиной на лице, делавшей его очень не похожим на себя. Вознесенский пришел за ним вместе с Мариной, которую он встретил на следующий день после своего приезда в этот город. Она была в белом легком платье; браслеты звенели на ее смуглых руках. Года два тому назад она покинула родных и путешествовала с тех пор по южной России, зарабатывая то гаданьем, то пением. Вознесенский твердо верил, что она жила именно на такие доходы; судя по тому, как он ее описывал, я думаю, что ей вряд ли приходилось очень заботиться о своем пропитании. Ей было тогда семнадцать или восемнадцать лет. Когда Вознесенский говорил о ней, у него даже менялся голос, и я полагаю, что если бы он не был так пьян, то не рассказал бы мне о некоторых совершенно непередаваемых и действительно редких ее качествах, о которых, конечно, могли знать только люди, неоднократно испытывавшие непреодолимую, горячую прелесть ее близости. Он жил с Мариной в небольшом особняке; через два дома от них поселился Вольф, который был еще слишком слаб, чтобы начинать прежнее партизанское существование. В доме Вознесенского был рояль. Вольф пришел в гости к своему товарищу на следующий день в штатском костюме, выбритый и чистый, как всегда, они вместе обедали, потом он сел за рояль и стал аккомпанировать Марине, которая пела свои песни.

Через некоторое время Вознесенский уехал на несколько дней к Офицерову; и когда он вернулся, то Марины не было. Он пошел к Вольфу – и она отворила ему дверь. Вольф в этот день отсутствовал. Она посмотрела на Вознесенского без всякого смущения и с дикарской, непосредственной простотой сказала ему, что теперь его больше не любит, а любит Сашу. В эту минуту, как сказал Вознесенский, она была похожа на Кармен.

– Я был человек крепкий, – сказал он, – на моих глазах были убиты мои товарищи, я сам часто рисковал жизнью, и все сходило с меня, как с гуся вода. Но в тот день я пришел домой, лег на кровать и плакал, как мальчишка.

То, что он мне рассказывал потом, было удивительно и наивно. Он убеждал Марину, что Вольф еще слишком слаб, что она должна была его пожалеть и оставить в покое.

– А когда он начинает кашлять и хрипеть, так я его отпускаю, – ответила она с той же простотой, которая была для нее характерна.

Впрочем, измена Марины никак не повлияла на отношения между Вознесенским и Вольфом. Вознесенский нашел в себе силы дружески относиться даже к Марине. Она прожила с Вольфом много месяцев, сопровождала отряд повсюду, и именно тогда они оценили ее искусство ездить верхом и стрелять из винтовки.

Затем наступили страшные времена. На преследование отряда, от которого осталось двести человек, была послана конная дивизия. Несколько недель они скрывались в лесах. Это было в Крыму. Офицеров был убит. В один из последних дней их пребывания там они нашли в лесу недавно брошенные и хорошо оборудованные землянки. Впервые за полторы недели они провели спокойную ночь, в сравнительном тепле и с некоторыми удобствами. Они проспали много часов подряд. Когда они встали, поздно утром, Марины не было.

– Мы так и не узнали, что с ней случилось, – сказал Вознесенский, – и куда она пропала.

Но разыскивать ее у них не было ни времени, ни возможности. Они добрались пешком до побережья и уехали из России в трюме турецкого парохода, перевозившего уголь. В Константинополе, через две недели, они расстались – и встретились через двенадцать лет в Париже, в

вагоне метро, когда Вольф, уже далеко не в первый раз, приехал во Францию из Англии, где постоянно жил.

О судьбе Марины Вознесенский так ничего и не знал. Она появилась неожиданно, в одно летнее утро, на базарной площади этого маленького городка над Днепром, и исчезла так же неожиданно, на рассвете осенней ночи, в Крыму.

– Появилась, обожгла и пропала, – сказал он. – Но только мы ее не забыли, ни Саша, ни я.

Я смотрел на него и думал о неправдоподобном стечении обстоятельств, которое связало мою жизнь со всем, что он рассказывал. Пятнадцать лет тому назад этот человек, который теперь сидел против меня в парижском ресторане и встречал Рождество с водкой, гусем и воспоминаниями и в самом дружеском расположении к своему собеседнику, ехал, вместе с двумя товарищами, на поиски Александра Вольфа, и если бы не легкий ветер, то я не услышал бы их приближения, они могли бы меня догнать, и тогда, конечно, мой револьвер меня бы не спас. Правда, я думаю, что белый жеребец Вольфа был резвее их лошадей, но он так же мог быть ранен или убит, как моя вороная кобыла. Но не это занимало мои мысли. Это была случайность, касавшаяся моей личной судьбы, и если бы меня спросили, что было бы лучше – быть убитым тогда или уцелеть для той жизни, которая мне предстояла, я не уверен, что стоило выбирать второе. Мы расстались, наконец, с Вознесенским, он ушел неверной походкой, и я остался один, погруженный в мои мысли обо всем, что я узнал за последнее время и что вызывало во мне ряд очень нестройных и противоречивых представлений. Конечно, в рассказе Вознесенского могла быть известная доля фантазии, почти неизбежная для таких устных мемуаров, – но она не касалась главного. То, что сказал мне директор издательства, резко расходилось с тем, что я узнал в этот вечер ресторанного разговора; правда, директору я был склонен верить гораздо меньше, чем моему рождественскому собеседнику. Но зачем ему нужно было уверять меня, что Вольф никогда надолго не уезжал из Англии, – и почему он жалел, что я его не убил? Но и это были побочные соображения. Самым удивительным мне казалось другое: как этот Саша Вольф, друг Вознесенского, авантюрист, пьяница, любитель женщин, соблазнитель Марины, – как этот Саша Вольф мог написать «I'll Come To-morrow»? Автор этой книги не мог быть таким. Я знал, что это был несомненно умный, чрезвычайно образованный человек, у которого культура не носила какого-то случайного характера; кроме того, он не мог не быть душевно чуждым такому милому и беспшабашному забулдыге, как Вознесенский, и всем вообще людям этой категории. Мне было трудно вообразить себе человека, так уверенно чувствовавшего себя в тех психологических переходах и оттенках, на удачном использовании которых была построена его проза, связывающим немецкую девочку-колонистку, например. В этом, конечно, не было ничего совершенно неправдоподобного, кроме того, это происходило много лет тому назад, но все-таки это уж как-то очень явно не соответствовало нормальному представлению об авторе «I'll Come To-morrow». Был ли он англичанином или русским, тоже, на мой взгляд, не имело значения. Мне больше всего хотелось знать, – если предположить, что рассказ Вознесенского был в общем верен, в чем я почти не сомневался, – как Саша Вольф, авантюрист и партизан, превратился в Александра Вольфа, написавшего такую книгу. Это с трудом укладывалось в моем воображении, – этот всадник на белом жеребце, ехавший карьером навстречу своей смерти, и именно такой смерти – револьверная пуля на всем скаку, – и автор сборника, ставящий эпиграфом цитату из Эдгара По. – Рано или поздно, – думал я, – я все-таки узнаю это, и, быть может, мне удастся проследить с начала до конца историю этого существования, в том его двойном аспекте, который особенно интересовал меня. – Это могло произойти или не произойти; во всяком случае, об этом следовало говорить только в будущем времени, и я совершенно не представлял себе, в каких именно обстоятельствах я это узнаю, если мне вообще суждено это узнать. Меня невольно тянуло к этому человеку; и помимо тех причин, которые казались наиболее очевидными и достаточными, чтобы объяснить мой интерес к нему, была еще одна, не менее важная и связанная на этот раз с моей личной судьбой.

Когда я впервые подумал о ней, однако, она почти показалась мне нелепой. Это было нечто вроде жажды самооправдания или поисков сочувствия, и я сам себе начал напоминать кого-то, кто, будучи приговорен к известному наказанию, естественно ищет общества людей, несущих такую же кару, как он сам. Другими словами, судьба Александра Вольфа интересовала меня еще и потому, что я сам страдал всю свою жизнь от непреодолимого и чрезвычайно упорного раздвоения, с которым тщетно пытался бороться и которое отравило лучшие часы моего существования. Быть может, предполагаемая двойственность Александра Вольфа была просто мнимой и все, что мне казалось противоречивым в моем представлении о нем, это были только различные элементы той душевной гармонии, которой отличался автор «I'll Come To-morrow». Но если это было так, то особенно хотелось понять, каким образом ему удалось достигнуть столь счастливого результата и успеть в том, в чем я так давно и так неизменно терпел постоянные неудачи.

Историю этих неудач я помнил очень хорошо, еще с тех времен, когда вопрос о моем личном раздвоении носил совершенно невинный характер и никак, казалось бы, не предвещал тех катастрофических последствий, к которым привел позже. Это началось с того, что меня в одинаковой степени привлекали две противоположные вещи: с одной стороны, история искусства и культуры, чтение, которому я уделял очень много времени, и склонность к отвлеченным проблемам; с другой стороны – столь же неумеренная любовь к спорту и всему, что касалось чисто физической, мускульно-животной жизни. Я едва не надорвал себе сердца гирями, которые были слишком тяжелы для меня, я проводил чуть ли не полжизни на спортивных площадках, участвовал во многих состязаниях и вплоть до последнего времени предпочитал футбольный мяч любому театральному спектаклю. Я сохранил очень неприятные воспоминания о жестоких драках, которые были характерны для моей юности и которые были совсем не похожи на спорт. Все это давно прошло, конечно; у меня осталось два шрама на голове – как сквозь сон вспоминал, что товарищи принесли меня тогда домой, покрытого запекшейся кровью и в изорванном гимназическом костюме. Но это все, – как и то, что я постоянно бывал в обществе воров и вообще людей, находившихся на временной свободе, от одной тюрьмы до другой, – не имело, казалось бы, особого значения, хотя и тогда уже можно было предполагать, что одинаково неизменная любовь к таким разным вещам, как стихи Бодлера и свирепая драка с какими-то хулиганами, заключает в себе нечто странное. Впоследствии все это приняло несколько иные формы, далекие, однако, от какого бы то ни было улучшения, потому что чем дольше это продолжалось, тем больше становилось расхождение и резкое противоречие, характерное для моей жизни. Оно находилось между тем, к чему я чувствовал душевную склонность и тяготение, и тем, с чем я так тщетно боролся, именно этим бурным и чувственным началом моего существа.

Оно мешало всему, оно затемняло те созерцательные возможности, которые я ценил больше, чем что бы то ни было другое, оно не позволяло мне видеть вещи так, как я должен был их видеть, оно искажало их в своем грубом, но непреодолимом преломлении, оно заставляло меня совершать множество поступков, о которых я потом неизменно сожалел. Оно побуждало меня любить вещи, эстетическую ничтожность которых я прекрасно знал, это были вещи явно дурного вкуса, и сила моего влечения к ним могла сравниться только с отвращением, которое я необъяснимым образом испытывал к ним в одно и то же время.

Но все-таки самым грустным результатом этого раздвоения был мой душевный опыт по отношению к женщинам. Я давно ловил себя на том, что вот я слежу жадными и почти чужими глазами за тяжелым и грубым женским лицом, в котором самый внимательный и самый беспристрастный наблюдатель тщетно искал бы какой бы то ни было одухотворенности. Я не мог не видеть, что эта женщина одета с вызывающим и неизменным безвкусием, так же, как я не мог предполагать в ней ничего, кроме чисто животных рефлексов, – и все же движения ее тела и раскачивающаяся ее походка каждый раз производили на меня непостижимо сильное впечат-

ление. Правда, я никогда не имел ничего общего с женщинами такого порядка, наоборот, при приближении к ним самым властным чувством во мне оказывалось все-таки отвращение. Другие женщины, которые прошли через мою жизнь, принадлежали к совершенно иному кругу, они составляли часть того мира, в котором я должен был бы жить всегда и откуда меня так неудержимо тянуло вниз. Я испытывал по отношению к ним лучшие, я думаю, чувства, на которые я был способен, – но все-таки во всем этом был привкус какой-то вялой прелести, оставлявший во мне каждый раз ощущение смутной неудовлетворенности. Это всегда было так – и я никогда не знал другого; я полагаю, что от этого последнего шага меня удерживало нечто похожее на инстинкт самосохранения, бессознательное понимание, что если бы это произошло, то кончилось бы душевной катастрофой. Но я нередко чувствовал, что она была близка; и я думал, что та же моя судьба, которая до сих пор так счастливо выводила меня из многих трудных и иногда опасных положений, – она же благоприятствовала мне, давая – в течение нескольких коротких часов за всю мою жизнь – иллюзию мирного и почти отвлеченного счастья, где не было места моему неудержимому стремлению вниз. Это было похоже на то, как если бы человек, которого всегда тянет в пропасть, жил в стране, где нет ни гор, ни обрывов, а только ровные просторы плоских равнин.

По мере того как проходило время и вместе с ним медленно двигалась моя жизнь, я привык к двойственности своего существования, как люди привыкают, скажем, к одним и тем же болям, характерным для их неизлечимой болезни. Но я не мог примириться до конца с сознанием того, что мое дикарское и чувственное восприятие мира лишило меня очень многих душевных возможностей и что есть вещи, которые я теоретически понимаю, но которые навсегда останутся для меня недоступны, как мне будет недоступен мир особенно возвышенных чувств, которые, однако, я знал и любил всю мою жизнь. Это сознание отражалось на всем, что я делал и предпринимал; я всякий раз знал, что то душевное усилие, на которое я, в принципе, должен был быть способен и которого другие были вправе от меня ждать, мне окажется непосильным, – и поэтому я не придавал значения многим практическим вещам, и поэтому моя жизнь носила в общем такой случайный и беспорядочный характер. Это же предопределило и мой выбор профессии; и вместо того, чтобы посвятить свое время литературному труду, к которому я чувствовал склонность, но который требовал значительной затраты времени и бескорыстного усилия, я занимался журнальной работой, очень нерегулярной и отличавшейся утомительным разнообразием. В зависимости от необходимости мне приходилось писать о чем угодно, начиная от политических статей и кончая отзывами о фильмах и отчетами о спортивных состязаниях. Это не требовало ни особенного труда, ни специальных знаний; кроме того, я пользовался либо псевдонимом, либо инициалами и уклонялся таким образом от ответственности за то, что писал. Этому, впрочем, научил меня опыт: почти никто и никогда из тех, о ком мне приходилось высказывать не совсем положительное суждение, не мог согласиться с моим отзывом, и каждый чувствовал настоятельную необходимость лично объяснить мне мое заблуждение. Изредка я должен был писать о том, что не входило в круг моей компетенции даже самым отдаленным образом, это случалось тогда, когда я заменял заболевшего или уехавшего специалиста. Одно время, например, мне все попадались некрологи, я написал их шесть за две недели, потому что мой товарищ, который занимался этим обычно – с необыкновенным рвением и редкой профессиональной честностью, – по прозвищу Боссюэ, лежал в кровати с двусторонним воспалением легких. Когда я пришел его навестить, он сказал мне с иронической улыбкой:

– Я надеюсь, милый коллега, что вам не придется утруждать себя некрологической заметкой обо мне. С вашей стороны это было бы самым жертвенным поступком, на который мы вправе надеяться.

– Дорогой мой Боссюэ, – сказал я, – я категорически обещаю вам, что ваш некролог я писать не буду. Я думаю, что лучше вас этого никто не сделает...

И самым удивительным было то, что Боссюэ действительно приготовил для себя некрологическую заметку, которую он мне показал и в которой я нашел все, к чему так привык, все положительные и классические пассажи этой литературы: тут был и бескорыстный труд, и смерть на посту – *pareil à un soldat, il est mort au combat*<sup>5</sup>, – и безупречное прошлое, и горе семьи – *que vont devenir ses enfants?*<sup>6</sup>, и так далее.

Период некрологов был памятен для меня, в частности, потому, что последнюю – шестую по счету – статью мне вернули из редакции с требованием больше оттенить положительные стороны покойного. Это было тем более трудно, что речь шла о политическом деятеле, умершем от прогрессивного паралича; вся жизнь его отличалась удивительным постоянством – последовательность темных дел, фальшивые итоги банковских операций, многочисленные партийные измены, затем банкеты, посещение наиболее известных кабаре и самых дорогих домов терпимости и, наконец, смерть от последствий венерической болезни. Это была спешная работа, я просидел над ней целый вечер, не успел вовремя пообедать, и, только дописав последние строки и отвезя статью в типографию, я зашел в русский ресторан, где встречал Сочельник, и после долгого перерыва снова встретил там Вознесенского, который опять сидел один и искренне мне обрадовался, как старому знакомому. Он обратился ко мне фамильярно и непринужденно, так, точно мы были знакомы много лет; но, как всегда, во всем, что он говорил или делал, в этом не было ничего шокирующего. Он спросил меня, где я пропадаю и нужно ли всякий раз дожидаться двенадцатого праздника, чтобы меня увидеть. Потом он поинтересовался тем, что я вообще делаю. Когда я ему сказал, что я журналист, он необыкновенно воодушевился.

– Вот вам счастье, – сказал он, – а мне Бог не дал.

– В чем же счастье?

– Помилуйте, да будь я журналистом, я бы такое написал, что все только удивлялись бы.

– Я думаю, что для этого не нужно быть журналистом. Вы бы попробовали.

– Пробовал, – ответил он, – ничего не выходит.

И он рассказал мне, как однажды сел писать свои мемуары, писал полночи и сам был в восторге, насколько все получалось замечательно.

– Так, знаете, умно, такие прекрасные сравнения, такое богатство слога, просто поразительно.

– Очень хорошо, – сказал я, – почему же вы не продолжали?

– Я лег спать, – сказал он, – уже под утро. Был я сам совершенно ослеплен своим собственным даром, который так внезапно открылся.

Потом он вздохнул и прибавил:

– Но когда я проснулся и все это опять прочел, мне, знаете, даже просто неприятно стало. Такие оказались глупости, так по-идиотски все было написано, что я только рукой махнул. Больше я никогда не буду писать.

Он сидел и задумчиво смотрел перед собой, на лице его было выражение искреннего огорчения. Потом, точно вспомнив что-то, он спросил меня:

– Да, вот о чем я хотел с вами поговорить. Скажите, пожалуйста, как пишет Саша? Хорошо или так себе? Помните, Саша Вольф, о котором мы с вами разговаривали?

Я ему сказал, что я думаю по этому поводу. Он покачал головой.

– А в этой книжке он о Марине не пишет?

– Нет.

– Жаль, о ней бы стоило. А о чем же он пишет? Вы извините, что я вас так расспрашиваю. По-английски я не знаю, лежит у меня Сашина книга, как рукопись на неизвестном языке.

---

<sup>5</sup> Подобно солдату, он пал в бою (*фр.*).

<sup>6</sup> Что станет с его детьми? (*фр.*).

Я ему приблизительно рассказал содержание книги. Его особенно заинтересовало, конечно, «Приключение в степи». Он все не мог привыкнуть к той мысли, что Саша Вольф, этот самый Саша, которого он так хорошо знает, – такой же, как мы все, сказал он, – этот Саша оказался писателем, да еще английским вдобавок.

– Откуда у него это берется? Не понимаю, – сказал он. – Вот что значит талант. Такой же человек, как я. Я всю свою жизнь ухлопал на ерунду, а о Саше потом будут писать статьи и, может быть, даже книги. И нас, может быть, вспомнят, если он о нас напишет, и через пятьдесят лет какие-нибудь английские гимназисты будут о нас читать, и, таким образом, все, что было, не пройдет даром.

Он опять смотрел перед собой невидящим взглядом.

– И вот так все и останется, – продолжал он, думая вслух. – И как браслеты звенели на Марининых руках, и какой Днепр был в то лето, и какая была жара, и как Саша лежал поперек дороги. Так он, значит, видел, кто в него стрелял тогда? По его описанию, вы говорите, мальчишка? Как это у него сказано?

Я повторил более подробно это место рассказа.

– Да, да, – сказал Вознесенский. – Это очень вероятно. Испугался, может быть, мальчишка. Вы представляете себе? Лошадь под ним убили, стоит, бедняга, один в поле, а на него карьером несется какой-то бандит с винтовкой.

Он опять задумался.

– Так мы никогда о нем ничего и не узнаем. Был ли это гимназист, который еще недавно боялся преподавателей больше, чем пулемета, и дома читал мамины книги, или хулиган, вроде беспризорного, и стрелял ли он от испуга или со спокойным расчетом, как убийца? Во всяком случае, – прибавил он неожиданно, – если бы я его каким-нибудь чудом встретил, я бы ему сказал: спасибо, дружок, что немного промахнулся; благодаря этому промаху мы все останемся жить – и Марина, и Саша, и даже, может быть, я.

– А вы придаете этому такое значение?

– А как же? – сказал он. – Жизнь проходит бесследно, миллионы людей исчезают, и о них никто не вспомнит. И из этих миллионов остаются какие-то единицы. Что может быть замечательнее? Или вот, живет красавица, вроде Марины, из-за которой десятки людей готовы, может быть, умереть, – и через несколько лет от нее ничего не останется, кроме где-то догнивающего ее тела? Разве это справедливо?

– Действительно, можно только пожалеть, что вы не писатель.

– Ах, милый мой, конечно. А вы думали, что я даром сокрушался по этому поводу? Я человек простой, но что же поделать, если во мне есть жажда бессмертия? Я прожил очень разгульную жизнь, все девочки да рестораны, – но это не значит, что я никогда и ни над чем не задумался. Наоборот, после девочек и ресторанов, в тишине и одиночестве, – вот тогда вспомнишь все, и на душе особенно печально. Это вам все развратники и все пьяницы подтвердят.

На этот раз он был в созерцательном настроении и почти трезв. Со мной под конец он стал разговаривать таким тоном, каким старшие разговаривают с младшими. Вот когда проживете с мое... Вы, конечно, слишком молоды... Потом речь снова была о Вольфе, но ничего нового он о нем не сказал.

Прошло еще несколько недель, и за все это время к моим сведениям не прибавилось ничего, даже в области моих собственных предположений. Из Лондона я не получил ни одного письма. Мне неоднократно приходила в голову мысль, что все это останется так навсегда: Вольф мог умереть, я мог его никогда не встретить, и то, что я знаю о нем, ограничится его рассказом «Приключение в степи», моими собственными воспоминаниями об этих жарких летних днях и тем, что говорил мне Вознесенский. Я вспомню еще несколько раз дорогу, бело-зеленый город над Днепром, звуки рояля в маленьком особняке и звон браслетов на руках Марины, – которого не мог забыть Вознесенский, – потом все это постепенно будет бледнеть и

тускнеть, и затем почти ничего не останется, кроме, пожалуй, книги, написанной этим упругим и точным языком и заглавие которой тоже будет звучать для меня какой-то отдаленной насмешкой.

Я бывал по-прежнему время от времени в этом ресторане, но все попадал не в те часы, когда туда приходил Вознесенский, который, впрочем, потерял для меня теперь значительную долю интереса. По-прежнему граммофон, соединенный с аппаратом радио, играл свои пластинки, – и всякий раз, когда низкий женский голос начинал романс:

Не надо ничего,  
Ни поздних сожалений... –

я невольно поднимал голову, и мне начинало казаться, что вдруг отворится дверь, и войдет Вознесенский, и вслед за ним быстрой походкой пройдет человек с белокурыми волосами и остановившимся взглядом серых глаз. То, что у него были серые глаза, вспомнил теперь отчетливо, хотя в тот раз, когда я их видел, они были покрыты почти что предсмертной мутью, и я заметил их цвет только потому, что это происходило в очень исключительных обстоятельствах.

\* \* \*

Я продолжал вести прежний образ жизни, в нем ничего не изменилось, все было, как всегда – хаотично и печально, и я временами не мог отделаться от впечатления, что живу так уже бесконечно давно и давно знаю до смертельной тоски все, что мне приходится видеть: этот город, эти кафе и кинематографы, эти редакции газет; одни и те же разговоры об одном и том же и приблизительно с одними и теми же людьми. И вот однажды, в феврале месяце мягкой и дождливой зимы, без всякой подготовки к этому, без какого бы то ни было ожидания чего-то нового, начались события, которые впоследствии должны были завести меня очень далеко. В сущности, начало их ни в какой степени не могло быть названо случайностью, по крайней мере, с моей стороны. Точно так же, как некоторое время тому назад я занимался некрологами вместо Боссюэ, который теперь, к счастью, выздоровел и принялся опять с непонятным рвением писать свои похоронно-лирические статьи, – так я должен был после этого заменить другого сотрудника газеты, специалиста по отчетам о спортивных состязаниях, уехавшего в Барселону, чтобы присутствовать на очень важном – с его точки зрения – интернациональном футбольном матче. Через день после этого в Париже должно было происходить не менее значительное событие, именно финал чемпионата мира в полутяжелом весе, и отчет об этом был поручен мне. Меня очень интересовал исход матча. Я имел вполне определенное представление о карьере и качествах каждого из противников, и их столкновение представляло для меня особенный интерес. Один из боксеров был француз, знаменитый Эмиль Дюбуа, другой – американец, Фред Джонсон, который впервые выступал в Европе. Общим фаворитом был Дюбуа; я был одним из немногих, считавших, что матч будет выигран Джонсоном, потому что я располагал сведениями, которые большинству публики и даже большинству журналистов были неизвестны, и для того, чтобы так думать, у меня были некоторые основания. Дюбуа я знал давно; за последние несколько лет он не потерпел ни одного поражения. Несмотря на это, его никак нельзя было назвать исключительным боксером. У него были несомненные природные данные, но это было скорее отсутствие некоторых недостатков, а не сумма достоинств: он отличался необыкновенной сопротивляемостью, мог вынести множество жестоких ударов, у него были прекрасные легкие и сердце и неисчерпаемое дыхание. В этом заключались его положительные качества, недостаточные, однако, чтобы сказать, что он обладал резкой про-

фессиональной индивидуальностью. Тактика, всегда одна и та же, которую он применял, свидетельствовала о полном отсутствии у него какого бы то ни было вдохновения или фантазии; она оказалась удачной несколько раз, и он потом никогда ей не изменял. У него были короткие руки, он был недостаточно быстр и недостаточно гибок. Он выигрывал матчи благодаря частым *corps à corps*<sup>7</sup>, его удары всегда приходились по ребрам противника, и во всей его карьере было только два классических нокаута, оба совершенно случайные. У него давно были расплющены уши и раздавлен прямыми ударами нос; он шел обычно на противника, как бык, опустив свою крепкую голову и вынося все удары с несомненным и тупым мужеством. Он был чемпионом Европы в полутяжелом весе, и на этот раз вся пресса предсказывала ему быструю победу. В частной жизни это был глупый и очень добродушный человек, он, между прочим, никогда не предъявлял никаких претензий к журналистам, что бы о нем ни писали; в довершение всего он читал вообще с трудом и мало интересовался газетами.

О Фреде Джонсоне я знал только то, что о нем писали американские журналисты. Нужно было произвести большую работу, чтобы из всей этой массы рекламных статей извлечь сколько-нибудь положительные данные для суждения о нем. Джонсон не мог кончить университета, потому что у него не хватило денег, и именно это заставило его выбрать профессию боксера. Это само по себе было достаточно необыкновенно. Вторая особенность его, уже чисто профессиональная, была та, что он доводил почти все свои матчи до последнего раунда. Третье, то, о чем неизменно жалели все, кто о нем писал, это что он не обладал нужной силой удара и количество нокаутов в его карьере было ничтожно. Они все-таки время от времени случались, и это каждый раз вызывало всеобщее удивление, но так как это бывало редко, то быстро забывалось. Все писавшие о нем неизменно подчеркивали необыкновенную быстроту его движений и разнообразие его тактики. Я много раз видел его фотографии: лицо Джонсона, в противоположность лицам большинства профессиональных боксеров, не было обезображено. Прочтя о нем несколько десятков статей и следя за результатами его матчей, я пришел к некоторым чисто теоретическим выводам, и мне особенно интересно было проверить их теперь. Выводы эти были следующие. Во-первых, Джонсон – по крайней мере, в своих боксерских выступлениях – был умен, что давало ему мгновенно огромное преимущество над его противниками; я очень люблю бокс, но давно убедился в том, что всякие иллюзии по поводу быстроты соображения у боксеров и присутствия у них элементарной гибкости воображения, даже только в техническом смысле, чаще всего – в девяноста случаях из ста – совершенно напрасны. Во-вторых, он, по-видимому, обладал не меньшей выносливостью, чем Дюбуа, так как только боксер с исключительными физическими данными мог позволить себе роскошь выдерживать каждый раз десять или пятнадцать раундов. В-третьих, он прекрасно владел техникой защиты, – доказательством служило то, что лицо его за всю карьеру серьезно не пострадало. И затем последнее и самое главное: он – так мне казалось – обладал, когда это было абсолютно необходимо, достаточной силой удара для нокаута, но пользовался этим лишь в чрезвычайно редких случаях, предпочитая выигрывать матчи по очкам. Он, кроме того, был моложе Дюбуа на шесть лет; это тоже имело некоторое значение.

Я был совершенно уверен в правильности моих предположений, но все-таки они все основывались на косвенных вещах и вдобавок таких недостоверных, как спортивные отчеты американских газет. Задача Джонсона в этом матче сводилась только к одному: он должен был удерживать Дюбуа на расстоянии и не допускать *corps à corps*. Я был уверен, что Джонсон не может этого не понять и что в таком случае превосходство его техники обеспечит ему победу.

Я давно не видел такой толпы и такого скопления автомобилей, как в вечер этого матча, перед входом в огромный Palais des Sports<sup>8</sup>. Все билеты давно были проданы. Прямо перед

---

<sup>7</sup> Ближним боям (фр.).

<sup>8</sup> Дворец спорта (фр.).

входом стояла громадная машина американского посла. На улице, под мелким зимним дождем, толпилось множество людей; редкие барышни прятались от полиции по темным углам. Едва я сделал несколько шагов, как меня окликнул один мой знакомый, молодой архитектор, которого я знал по Латинскому кварталу в студенческие годы.

– Счастливцев! – громко сказал он, пожимая мне руку. – Тебе не надо искать каких-то мерзавцев, которые продают двадцатифранковый билет за полтора ста франков! Я бы тоже, черт возьми, хотел иметь карту журналиста, как ты. Держишь пари против Дюбуа? Ставлю десять франков. Ах, вот он! – закричал он, увидев невысокого человека в кепке. – Вот мой билет, до свиданья! – И он исчез.

И в эту секунду женский голос, очень спокойный, без всякого изменения интонаций, сказал мне с небольшим иностранным акцентом:

– Простите, пожалуйста, вы действительно журналист?

Я обернулся. Это была женщина лет двадцати пяти – двадцати шести, хорошо одетая, с довольно красивым, неподвижным лицом и небольшими серыми глазами; шляпа не закрывала ее лба очень чистой и правильной формы. Меня удивило, что она обратилась к незнакомому человеку, это мне казалось для нее нехарактерным. Но она говорила с такой простотой и свободой, что я тотчас же ей ответил: да, я действительно журналист и был бы рад, если бы мог ей быть чем-нибудь полезен.

– Я не могла достать билета на матч, – сказала она, – мне очень хотелось бы его видеть. Вы не можете меня провести?

– Постараюсь, – ответил я. В общем, после долгих разговоров с дирекцией, дав на чай контролеру, мы прошли с ней в зал, и я уступил ей свое кресло, которое она приняла без всякого смущения; я остался стоять рядом с ней, непосредственно у каменного барьера, отделявшего наши места от других. Она ни разу потом не посмотрела на меня и только спросила перед началом матча, почти не поворачивая головы:

– Как вы думаете, кто выиграет?

– Джонсон, – сказал я.

Но в это время на ринге появились уже боксеры, и разговор прекратился. Два боя, предшествовавших чемпионату, не представляли никакого интереса. Наконец наступила минута, когда должен был начаться главный матч. Я увидел широкую и коренастую фигуру Дюбуа в темно-розовом мохнатом халате; он подходил к рингу, сопровождаемый своим менеджером и двумя людьми, демонстративно державшими в руках полотенца. Тупое и спокойное его лицо изображало обычную равнодушную улыбку. Толпа аплодировала и ревела, сверху слышались поощрительные крики:

– Vas-y, Mimile! Fais lui voir! Tape dedans! T'as qu'à y aller franchement!<sup>9</sup>

Я не заметил, откуда к рингу подошел Джонсон, который буквально проскользнул под веревкой и очутился рядом с Дюбуа. Как это иногда бывает, по одному его случайному движению, именно по тому, как он нагнулся под веревку и затем выпрямился, было видно, что все его тело обладало идеально уравновешенной гибкостью. Он был в синем халате с продольными полосами. Когда они оба были раздеты, разница между ними не могла не броситься в глаза. Дюбуа казался гораздо шире и тяжелее своего противника. Я увидел опять его круглые, крепкие плечи, мохнатую грудь и толстые, мускулистые ноги. В Джонсоне меня поразила прежде всего его худоба, его отчетливо видные ребра, его руки и ноги, казавшиеся особенно тонкими по сравнению с руками и ногами Дюбуа. Но, присмотревшись внимательнее, я увидел, что у него была огромная грудная клетка, широкие плечи, почти балетной красоты ноги и на его безволосом торсе легко и послушно двигались под блестящей кожей небольшие, плоские мускулы. Он был блондин, у него было некрасивое и подвижное лицо. На вид ему можно было дать

---

<sup>9</sup> – Давай, Мимиль! Покажи ему! Поддай ему! Давай, жми! (фр.)

лет девятнадцать; на самом деле ему было двадцать четыре года. Ему тоже аплодировали, но, конечно, не так, как Дюбуа. Он поклонился без улыбки – и после удара гонга начался матч.

Мне сразу показалось тревожным то обстоятельство, что защитная позиция Джонсона, похожая на классическую позицию Дэмпси – оба кулака почти на уровне глаз, – явно не подходила для матча с Дюбуа, так как оставляла совершенно открытым весь торс. Но уже после первого раунда я понял мою ошибку: настоящая защита Джонсона заключалась не в той или иной позиции, а в необыкновенной быстроте его движений. Дюбуа начал матч в стремительном темпе, который был для него нехарактерен; он, по-видимому, точно подчинялся предварительным указаниям своего менеджера. Было заметно, что он прекрасно тренирован, я никогда его не видел в такой совершенной форме. С того места, где я стоял, я ясно видел его непрекращающиеся удары и слышал их скачущие, тупые звуки, похожие издали на мягкий и неровный топот. Они попадали в открытую грудь Джонсона, который отступал, кружась по рингу. Атака Дюбуа была настолько стремительна, что все внимание публики было обращено только на него. О Джонсоне, казалось, никто не думал; один из моих соседей громко говорил с возмущением: – Но его не существует, его нет на ринге, я не вижу даже его тени! – Это не матч, это убийство! – кричал чей-то женский голос. Поощряемый толпой, Дюбуа все яростнее наступал на противника; были видны его круглые, быстро передвигающиеся плечи, тяжелое перебирание его массивных ног, и со стороны невольно начинало казаться, что всякое сопротивление этой живой и неудержимой машине невозможно. Вся толпа думала так, и редкие зрители, сохранившие хладнокровие и следившие внимательно за боем, не могли не разделять это мнение.

– Это всегдашняя история с американцами! – кричал мой сосед. – В Америке они совершают какие-то чудеса, в Европе их бьют, как хотят!

Из-за чрезвычайно быстрого темпа, в котором прошел весь первый раунд, я не мог судить о том, в какой степени Джонсон был на высоте положения. Только во время перерыва я заметил, что он дышал ровно и спокойно и на его лице появилось то напряженное и уверенное выражение, которое я помнил по его газетным портретам.

Второй и третий раунды были повторениями первого. Я никогда не думал, что Дюбуа способен к такому быстрому и свирепому нападению. Но уже тогда стало заметно, что ему не удаются его *corps à corps*, от которых Джонсон все время уходил. Дюбуа стремился именно к этому и не жалел никаких усилий. Тело его блестело от пота, но удары чередовались в прежнем, не ослабевающем ни на минуту ритме. Джонсон продолжал отступать все время, совершая почти правильные круги по рингу. В конце четвертого раунда, когда казалось, что матч безвозвратно выигран и что для окончательного решения остается выполнение только каких-то формальностей (удары продолжали сыпаться на Джонсона, который чудом еще держался на ногах, – *coup de grâce! coup de grâce!* – кричали сверху пронзительные голоса, – *t'as qu'à en finir, Mimile!*<sup>10</sup>, на ринге вдруг произошло движение, настолько молниеносное, что его буквально никто не успел заметить, раздался мгновенный тупой звук падающего тела, и я увидел, что Дюбуа рухнул всей тяжестью на пол. Это было так неожиданно и невероятно, что по всему огромному Palais des Sports прошел одновременный гул толпы, похожий на чудовищный вздох. Сам арбитр настолько растерялся, что не сразу начал считать секунды. На седьмой секунде тело Дюбуа оставалось неподвижным. На восьмой раздался звук гонга, возвещающий конец раунда.

С пятого раунда матч принял совершенно другой характер. Точно так же, как до четвертого перерыва на ринге был, казалось, только Дюбуа, так теперь вместо него появился Джонсон, и вот тогда можно было оценить его необыкновенные качества. Это был урок классического бокса, и Джонсон казался непогрешимым учителем, неспособным сделать ни одной ошибки. Он к тому же явно щадил своего противника. Дюбуа, наполовину оглушенный, шел теперь почти вслепую и неизменно натывался на кулаки Джонсона. Он падал еще много раз, но подни-

---

<sup>10</sup> Добивающий удар! добивающий удар!...пора кончать, Мимиль! (*фр.*)

мался с невероятным усилием и под конец почти перестал защищаться, беспомощно закрывая руками лицо и со своим обычным, на этот раз едва ли не бессознательным мужеством вынося все удары. Один глаз его был закрыт, по лицу стекала кровь, которую он слизывал машинальным движением, звучно глотая слюну. Было непонятно, почему арбитр не останавливает матч. Джонсон несколько раз в середине раунда опускал руки, вопросительно глядя то на Дюбуа, то на арбитра, и я явственно слышал, как он сказал – *but he's dead*<sup>11</sup>, – но потом пожимал плечами и продолжал ненужную теперь демонстрацию своего удивительного искусства. И только в начале шестого раунда таким же быстрым движением, но которое на этот раз видели все, его правый кулак с необыкновенной силой и точностью попал в подбородок Дюбуа, и Дюбуа унесли с ринга в бессознательном состоянии. В зале стоял грохот и крик, уже бесформенный и бессмысленный, и толпа начала медленно расходиться.

Зимний дождь лил не переставая. Мы вышли с моей спутницей, я остановил такси и спросил ее, куда она едет.

– Вы были так любезны, – сказала она, не затворяя дверцу автомобиля и сидя уже внутри, – я не знаю, как вас благодарить.

– Я вам предлагаю выпить кофе, это полезно после сильных ощущений, сказал я. Она согласилась, и мы поехали в ночное кафе на *que Royale*. По стеклам автомобиля скатывались капли дождя, тускло блестя в свете фонарей.

– Почему вы думали, что матч выиграет Джонсон? – спросила она. Я подробно изложил ей мои соображения по этому поводу.

– Вы следили за американскими газетами?

– Это моя профессиональная обязанность.

Она замолчала. Мне почему-то было неловко в ее присутствии, и я начинал жалеть, что пригласил ее в кафе. Каждый раз, когда автомобиль попадал в полосу фонарного света, я видел ее холодное и спокойное лицо, и через несколько минут я подумал о том, зачем, собственно говоря, я еду пить кофе с этой незнакомой женщиной, у которой такое отсутствующее выражение, как если бы она сидела в парикмахерской или в вагоне метро.

– Для журналиста вы не очень разговорчивы, – сказала она через некоторое время.

– Я вам обстоятельно рассказал, почему я думал, что Джонсон выиграет матч.

– И этим ограничиваются ваши возможности как собеседника?

– Я не знаю, какие темы вас интересуют. Я предполагал, что это главным образом бокс.

– Не всегда, – сказала она, и в это время автомобиль остановился. Через минуту мы сидели за столиком и пили кофе. Только тогда я разглядел как следует мою спутницу, вернее, заметил одну ее особенность: у нее был неожиданно большой рот с полными и жадными губами, и это придавало ее лицу дисгармоническое выражение, – так, точно в нем было нечто искусственное, потому что соединение ее лба и нижней части лица производило даже несколько тягостное впечатление какой-то анатомической ошибки. Но когда она в первый раз улыбнулась, обнажив свои ровные зубы и чуть-чуть открыв рот, – в этом вдруг проскользнуло выражение теплой и чувственной прелести, которое еще секунду тому назад показалось бы совершенно невозможным на ее лице. Я неоднократно вспоминал потом, что именно с этой минуты я перестал чувствовать по отношению к ней ту неловкость, которая связывала меня до сих пор. Мне стало легко и свободно. Я спрашивал ее о разных вещах, которые касались ее лично. Она сказала, что ее фамилия Армстронг, что у нее недавно умер муж, что она живет в Париже одна.

– Ваш муж был?..

---

<sup>11</sup> Но он же сдох (англ.).

Она ответила, что он был американец, инженер, что в течение последних двух лет она не встречалась с ним: она была в Европе, он оставался в Америке. Она получила телеграмму о его скоростижной смерти, находясь в Лондоне.

– У вас нет американского акцента, – сказал я. – Ваш акцент нейтрально иностранный, если так можно сказать.

Она опять улыбнулась этой улыбкой, которая всегда производила впечатление неожиданности, и ответила, что она русская. Я едва не привстал со своего места – и я до сих пор не знаю, почему тогда это показалось мне таким удивительным.

– А вы не подозревали, что имеете дело с соотечественницей?

Она говорила теперь на очень чистом русском языке.

– Согласитесь, что это трудно было предположить.

– А я знала, что вы русский.

– Преклоняюсь перед вашей проницательностью. Каким образом, если это не секрет?

– По глазам, – сказала она насмешливо. Потом она пожала плечами и прибавила:

– Потому что из кармана вашего пальто торчала русская газета.

Был уже второй час ночи. Я предложил ей отвезти ее домой. Она ответила, что поедет одна, что она не хочет меня беспокоить.

– Вас, наверное, зовут ваши профессиональные обязательства, не так ли?

– Да, я должен сдать отчет о матче.

Я твердо решил не спрашивать ее, где она живет, и не искать с ней никаких новых встреч. Мы вышли вместе, я довел ее до такси и сказал:

– Желаю вам спокойной ночи, всего хорошего.

Она протянула мне руку, на которую упало несколько капель дождя, и ответила, улыбаясь в последний раз:

– Спокойной ночи.

Я не знаю, было ли это в действительности так или мне просто послышалось. Мне показалось, что в ее голосе появилась и мгновенно исчезла новая интонация, какая-то звуковая улыбка, имевшая такое же значение, как это первое, отдаленно чувственное движение ее губ и зубов, после которого я перестал ощущать неловкость в ее присутствии. Не думая ни секунды о том, что я говорю, и совершенно забыв, – так, точно его никогда не было, – о только что принятом решении ее ни о чем не спрашивать, я сказал:

– Мне было бы жаль расстаться с вами, не узнав ни вашего имени и отчества, ни вашего адреса. В конце концов, если ваш интерес к спорту носит постоянный характер, я мог бы, может, быть вам еще полезен.

– Это возможно, – сказала она. – Меня зовут Елена Николаевна. Вот мой адрес и телефон. Вы не записываете?

– Нет, я запомню.

– Вы так полагаетесь на вашу память?

– Совершенно.

Она сказала, что бывает дома до часу дня и вечером, от семи до девяти, захлопнула дверцу автомобиля и уехала.

Я пошел пешком по направлению к типографии; была очень туманная ночь с ни на минуту не прекращающимся дождем. Я шел, подняв воротник пальто, и думал одновременно о разных вещах.

«Ценность Джонсона, которая до сих пор считалась спорной, вчера проявилась с такой несомненностью, что теперь этот вопрос представляется совершенно разрешенным в самом положительном смысле. Это, впрочем, следовало предполагать, и для некоторых журналистов, располагавших известными сведениями о карьере нового чемпиона мира, исход матча был ясен заранее».

«Она сказала – вас зовут ваши профессиональные обязательства, – это звучит не совсем по-русски. Это была, впрочем, единственная ошибка, которую она сделала».

«Мужество Дюбуа не может не вызывать уважения. Те его недостатки, которые не играли особенной роли в его прежних столкновениях с боксерами средней, в конце концов, ценности, в данном случае, в матче против такого технически безупречного противника, как Джонсон, его погубили».

«В ней есть нечто неестественно-притягивающее, и эта дисгармония ее лица, может быть, соответствует какой-то душевной аномалии».

«То, что на все лады и так неизменно повторялось о Джонсоне, именно, что он не обладает достаточной силой удара для нокаута, надо полагать, только тактический прием, который с постоянным успехом повторял его менеджер. Это был публицистический трюк *au rebours*<sup>12</sup>, характерный для американской спортивной прессы».

«Я бы хотел знать, что будет дальше. Rue Octave Feuillet – это недалеко от avenue Henri Martin, если я не ошибаюсь».

«Все прежние успехи Дюбуа объяснялись тем, что никто из его противников не понимал такой простой вещи, как необходимость избегать *corps à corps*, или не обладал достаточной техникой, чтобы привести в исполнение такой простой план. Вместе с тем, будучи лишен возможности прибегать к *corps à corps*, Дюбуа сразу терял свое главное преимущество. Джонсон понял это с характерной для него быстротой соображения, и с этой минуты Дюбуа был обречен».

«Мне, может быть, предстоит какое-то новое душевное путешествие и отъезд в неизвестность, как это уже случалось в моей жизни».

«Будем откровенны до конца: несмотря на несомненные достоинства Дюбуа, его претензии на звание чемпиона мира были, конечно, результатом недоразумения. Он – честный труженик бокса, один из лучших, каких мы знаем; но у него никогда не было того исключительного и чрезвычайно редкого соединения разнообразных данных, без которого человек не имеет права на одно из первых мест в истории бокса. За много лет, из сотен боксеров, в памяти историков спорта останется вообще лишь несколько имен; последние из них – Карпантье, Дэмпсей и Тэнней. Если Джонсона можно – с известной степенью произвольности – поставить в их ряд, то Дюбуа в этом сопоставлении, конечно, мог бы играть только самую печальную роль, что, впрочем, ни в какой мере не умаляет его заслуг».

«Если бы в ее голосе не появилась эта неожиданная интонация, то, вероятнее всего, я бы больше никогда ее не увидел».

Я дошел до маленького кафе, возле типографии, и написал статью, которую обдумывал по дороге. Потом я сдал ее в набор, поехал домой и лег спать в половине четвертого утра. Закрыв глаза, я увидел перед собой в последний раз обнаженные тела боксеров, и освещенный квадрат ринга, и неожиданную улыбку моей спутницы – и заснул, наконец, под звук дождя, который доходил до меня через полуоткрытое окно моей комнаты.

В течение всей следующей недели я был очень занят, мне были нужны деньги, чтобы заплатить за множество вещей, о которых я почти не думал в последнее время, и поэтому я писал каждый день по несколько часов. Так как чаще всего речь шла о том, к чему я не был подготовлен, то мне приходилось предварительно знакомиться с некоторым количеством матерьяла.

Так было с женщиной, разрезанной на куски, – нужно было проследить по газетам все сообщения, предшествовавшие тому моменту следствия, с которого я начал, так было с финансовым скандалом, так было с исчезновением молодого человека восемнадцати лет. Вся эта работа была впустую: убийца женщины не мог быть найден, это было очевидно по началу след-

---

<sup>12</sup> Навыворот (*фр.*).

ствия, выяснившего, что нет никаких следов преступника; банкротство финансового предприятия тоже ничем не кончилось, и журналистам были даны инструкции не называть собственных имен. Эти имена принадлежали очень известным и почтенным лицам, так что серия статей по поводу банковского краха носила явно временный характер, и действительно, через несколько дней всякое упоминание об этом исчезло; все знали, какая сумма была уплачена за молчание прессы, но это не меняло того обстоятельства, что материал был исчерпан. Наконец, история с молодым человеком тоже не была секретом ни для кого из нас, она объяснялась его «специальной нравственностью», как это называлось на официальном языке; молодой человек был просто увезен с полного своего согласия на загородную виллу одного знаменитого художника, тоже отличавшегося «специальной нравственностью», но с несколько иным уклоном, так что его общение с молодым человеком представляло собой совершенно законченную идиллию. Этот художник рисовал портреты президентов и министров, был близко знаком со многими государственными людьми, у которых он мирно продолжал бывать, – и в отчетах об этих приемах было по-прежнему написано: «Среди присутствующих мы заметили нашего знаменитого художника...» Молодой человек наслаждался своим специальным – и своеобразным – счастьем в двадцати километрах от Парижа, а в газетах печатались его фотографии с его родителями, заявления инспекторов «светской бригады» и так далее. Я написал за неделю четырнадцать статей об этих трех событиях, и это сразу восстановило мой бюджет. Менеджер Дюбуа требовал реванша, обвинял арбитра в пристрастности и даже написал текст заявления самого Дюбуа, который объяснял, что следовал вполне определенной тактике, собирался выиграть бой в последних раундах и нокаут Джонсона был явной случайностью. Менеджер, кроме того, настаивал на недопустимом, по его мнению, тоне, в котором было написано большинство отчетов о матче, и подчеркивал, что ему было стыдно читать эти строки на страницах парижской прессы. По этому поводу было напечатано еще несколько статей, имевших официальной целью восстановление истины, – но как менеджер, так и журналисты очень хорошо знали, что речь шла вовсе не об истине, а об интересах менеджера и Дюбуа, плата которому за следующие матчи должна была понизиться после его поражения. Это было совершенно неизбежно, но надо было сделать все, чтобы понижение не носило слишком резкого характера.

Я чувствовал себя в эти дни легко и тревожно – приблизительно как во времена моей ранней юности, когда мне предстоял отъезд в далекое путешествие, из которого я, может быть, не вернусь. Мысль о моей спутнице в вечер матча Джонсона – Дюбуа неизменно возвращалась ко мне, и я знал с совершенной интуитивной точностью, что моя следующая встреча с ней – только вопрос времени. Во мне началось уже душевное и физическое движение, против которого внешние обстоятельства моей жизни были бессильны. Я думал об этом с постоянным беспокойством, так как я знал, что в данном случае я больше рискую своей свободой, чем когда бы то ни было, и чтобы в этом убедиться, было достаточно посмотреть в ее глаза, увидеть ее улыбку и почувствовать ту своеобразную и чем-то враждебную ее притягательность, которую я ощутил в первый же вечер моего знакомства с ней. Я не знал, конечно, какие чувства испытала она по отношению ко мне в эту февральскую ночь. Но хотя я видел ее, в сущности, только час, не больше – когда после матча мы были в кафе, – мне казалось, что ее улыбка и последняя интонация ее голоса не были случайны и что все это должно было повлечь за собой много других вещей, может быть, замечательных, может быть, печальных, может быть, печальных и замечательных одновременно. Но было, конечно, возможно, что я ошибался и что мои тогдашние ощущения были так же неверны и случайны, как смутные и расплывающиеся очертания домов, улиц и людей сквозь эту влажную и туманную завесу дождя.

Я вспомнил, что тогда, при прощанье, она не спросила моего имени. Она ждала либо моего визита, либо моего телефонного звонка с той спокойной и почти безразличной уверенностью, которая мне казалась характерной для нее вообще.

Я позвонил ей в десять часов утра, ровно через восемь дней после матча.

- Алло, я слушаю, – сказал ее голос.
- Здравствуйте, – сказал я, называя себя, – я хотел узнать, как ваше здоровье.
- Ах, это вы? Благодарю вас, прекрасно. А вы не были больны?
- Нет, но за это время было много событий, которые меня лишали удовольствия слышать ваш голос.
- События личного характера?
- Нет, косвенные и довольно скучные, особенно в телефонном изложении.
- Вы могли бы их рассказать и не по телефону.
- Для этого мне нужно было бы иметь возможность вас увидеть.
- Я не скрываюсь, это легко устроить. Где вы сегодня обедаете?
- Не знаю, я об этом не думал.
- Приходите ко мне часов в семь – в половине восьмого.
- Я боюсь злоупотребить вашей любезностью.
- Если бы мы с вами были чуть-чуть лучше знакомы, то я бы вам ответила... Вы знаете, что я ответила бы?
- Это нетрудно угадать.
- Но так как мы еще недостаточно знакомы, то этой фразы я не произнесу.
- Ценю вашу любезность.
- Значит, я жду вас вечером?
- Я постараюсь быть точным.

В половине восьмого я входил в дом, в котором она жила; ее квартира была на втором этаже. Как только я позвонил, дверь отворилась – и я едва не отступил на шаг от удивления: передо мной стояла огромная мулатка, которая не произносила ни слова и молча смотрела на меня широко открытыми глазами. В первую секунду я подумал, не ошибся ли я этажом. Но когда я спросил, можно ли видеть мадам Армстронг, она ответила:

– Yes. Oui, monsieur<sup>13</sup>.

Она повернулась и направилась ко второй двери, которая вела, по-видимому, в квартиру; она шла впереди меня, заполняя своим громадным телом всю ширину коридора. Потом она ввела меня в гостиную; на стенах висело несколько натюрмортов довольно случайного, как мне показалось, происхождения, на полу лежал синий ковер, мебель была синего бархата. Я рассматривал в течение нескольких секунд тарелку эллиптической формы, нарисованную желтой краской и на которой лежало два разрезанных и три неразрезанных апельсина, – и в это время вошла Елена Николаевна. Она была в коричневом бархатном платье, которое ей очень шло, точно так же, как ее прическа, подчеркивающая неподвижную прелесть ее лица, почти не накрашенного. Но глаза ее показались мне на этот раз гораздо живее, чем тогда, во время моей первой встречи с ней.

Я поздоровался и сказал, что мулатка, отворившая мне дверь, произвела на меня сильное впечатление. Елена Николаевна улыбнулась.

– Ее зовут Анни, – сказала она, – я называю ее little Anny<sup>14</sup>, помните, был когда-то такой фильм.

– Да, little Anny ей очень подходит. Откуда она у вас?

Она объяснила мне, что Анни поступила к ней на службу в Нью-Йорке и ездит с ней теперь повсюду и что так как Анни жила некоторое время в Канаде, то говорит по-французски; кроме того, она прекрасно готовит, и в этом у меня будет немедленная возможность убедиться. Анни действительно была прекрасной кухаркой, – я давно так не обедал.

---

<sup>13</sup> Да (англ.). Да, месье (фр.).

<sup>14</sup> Крошка Анни (англ.).

Елена Николаевна расспрашивала меня о моих делах за эту неделю. Я рассказал ей о женщине, разрезанной на куски, об очередном банкротстве, об исчезновении молодого человека и, наконец, о газетном выступлении менеджера Дюбуа.

- Это и есть газетная работа?
- Приблизительно.
- И это всегда так?
- Чаще всего.
- И вы считаете, что это вам подходит?

Я пил кофе, курил и думал о том, насколько этот разговор был далек от моих чувств и моих желаний. Я был безмолвно пьян от ее присутствия, и чем дольше это продолжалось, тем сильнее я ощущал, как от меня ускользает всякая власть над этим состоянием, которого не могли победить никакие усилия. Я знал, что веду себя совершенно прилично, что у меня ясные глаза и что я остаюсь нормальным собеседником, – но я знал так же хорошо, что эта видимость не могла ввести в заблуждение Елену Николаевну, и она в свою очередь понимала, что я это знал. Естественнее всего было бы, если бы я сказал ей: моя дорогая, вы не ошибаетесь, считая, что этот разговор не имеет никакого отношения ни к тем чувствам, которые в данную минуту испытываю я, ни к тем, которые, вероятно, испытываете вы. И вы знаете так же хорошо, какие слова я должен был бы произнести сейчас. Но вместо этого я сказал:

- Нет, конечно, я предпочел бы заниматься литературой, но, к сожалению, это не получается.
- Вы бы предпочли писать лирические рассказы?
- Почему непременно лирические рассказы?
- Мне кажется, что это должен был бы быть ваш жанр.
- И это говорите мне вы после того, как мы познакомились с вами во время матча, и после того, как вы – я надеюсь – оценили хотя бы мои предсказания о его исходе?

Она опять улыбнулась.

– Может быть, я ошибаюсь. Но все почему-то кажется, что я знаю вас уже очень давно, хотя вижу вас второй раз в жизни.

Это было ее первое признание и первый шаг, который она сделала.

- Говорят, это очень тревожный признак.
- Я не боюсь, – сказала она со своей необъяснимо жадной улыбкой.

Я видел ее улыбающийся рот, ее ровные крепкие зубы и тускло-красный цвет ее немного накрашенных губ. Я закрыл глаза, я ощущал бурную чувственную муть. Но я сделал над собой необыкновенное усилие и остался сидеть в своем кресле с внешне спокойным – как я предполагал – видом, хотя каждый мускул моего тела был напряжен до боли.

- Вы закрываете глаза, – сказал ее далекий голос, – не хочется ли вам спать после обеда?
- Нет, я просто вспоминал одну фразу.
- Какую?
- Это сказал царь Соломон.
- Далеко мы с вами заехали.

Это «мы с вами» было ее второе движение.

- Что же это за фраза?
- Она отличается некоторой метафорической роскошью, – сказал я, – которая теперь, на наш слух, кажется несколько спорной, в смысле стилистическом, конечно. Но я надеюсь, вы примите во внимание тот факт, что это было написано очень давно.
- Боже, как вы многословны! Какая фраза?
- Царь Соломон сказал, что не понимает трех вещей.
- Каких?
- Путь змеи на скале.

– Это хорошо.

– Путь орла в небе.

– Тоже хорошо.

– И путь женского сердца к сердцу мужскому.

– Этого, кажется, никто не понимает, – сказала она с неожиданно задумчивой интонацией в голосе. – А вы находите, что это неудачно сказано? Почему?

– Нет, это, может быть, плохой перевод. Во всяком случае, последняя часть фразы звучит нехорошо. «Путь женского сердца к сердцу мужскому» – в этом есть что-то от учебника грамматики.

– Я не иду так далеко в стилистическом анализе. А вы любитель царя Соломона?

– С некоторыми оговорками. Многое из того, что он написал, мне кажется недостаточно убедительным.

Был зимний и сумрачный вечер, в квартире было очень тепло. Елена Николаевна сидела в кресле, против меня, положив ногу на ногу, мне были видны ее колени, и всякий раз, когда я смотрел на них, мне становилось душно и тяжело. Я чувствовал, что все это – с моей стороны – начинает становиться неприличным. Я постарался вызвать в своем воображении те представления, к помощи которых я всегда прибегал, – как другие прибегают к мнемоническим приемам. Когда мной овладевало с такой бурной силой какое-нибудь чувство, которое я почему-либо считал неуместным или – как теперь – преждевременным, я представлял себе огромное снежное поле или волнистую поверхность моря, это почти всегда мне помогало. На этот раз я постарался увидеть перед собой, там, где была Елена Николаевна, снежную равнину, но сквозь ее воображаемую белизну все резче и сильнее проступало это неподвижное лицо с красными губами.

Я, наконец, поднялся, поблагодарил ее за гостеприимство и собрался уходить. Но когда она протянула мне свою теплую руку и я ощутил ее прикосновение к моим пальцам, я так же мгновенно забыл о намерении уйти, как тогда, ночью, прощаясь с ней, я забыл о том, что решил не спрашивать, где она живет, и не искать с ней встреч. Я притянул ее к себе – она поморщилась от боли, которую я ей невольно причинил, слишком сильно сжав ей руку, – когда я обнял ее, я почувствовал всю поверхность ее тела. Только позже, вспоминая об этом, я понял, что это ощущение в ту секунду не могло не быть воображаемым: на ней было очень плотное бархатное платье.

Я знал, что всякая женщина на ее месте должна была мне сказать одну и ту же фразу:

– Вы с ума сошли.

Но она ее не сказала. Мне казалось, что я приближаюсь к ее лицу точно сквозь смертельный сон. Она не делала ни одного движения и не сопротивлялась, но в последнюю секунду она повернула голову налево, подставив мне шею. Ее платье было застегнуто длинным рядом бархатных пуговиц на спине, очень тугих и скользких. Когда я расстегнул две верхние пуговицы, она сказала все тем же спокойным, хотя, как мне показалось, несколько помутневшим голосом:

– Здесь нельзя, подождите. Пустите меня на минуту.

Я выпустил ее, она пошла в другую комнату, и я последовал за ней. Мы сделали всего несколько шагов, но в эти секунды я успел подумать о том, с какой неожиданной и, в сущности, неестественной быстротой все это произошло. От вечера моей первой встречи с ней меня отделяло только восемь дней, – но это было длительное и огромное расстояние. Я знал, что обычно мои чувства, несмотря на ту их примитивную силу, которая была главным моим недостатком, развивались всегда с тяжелой медлительностью; но на этот раз все восемь дней я находился во власти их движения и все-таки до последней минуты не мог себе представить, насколько глубоко и безвозвратно это захватило меня. Я думаю, что в силу необъяснимого, как всегда, чувственного совпадения Елена Николаевна испытывала приблизительно то же, что я;

ее ощущения были похожи на мои – так, как вогнутое стекло похоже на выгнутое, одинаковым изгибом, результатом одного и того же двойного движения. В этом была та же непонятная стремительность, казавшаяся для нее еще менее характерной, чем для меня. Эти мысли были смутными и неверными, как все, что я тогда чувствовал, я только позже вспомнил о них, и они приобрели в моем представлении ту приблизительно отчетливую форму, которой они не могли иметь в течение этих коротких секунд. Они, кроме того, казались мне тогда совершенно неважными.

Она пропустила меня вперед, потом затворила дверь и повернула ключ в замке. Мы были в небольшой комнате, которой я тогда не рассмотрел; я заметил только широкий диван, над которым горело бра с маленьким синим абажуром, столик, на столике пепельницу и телефон. Она села на диван, я остановился перед ней на секунду, и она успела сказать:

– Ну, теперь...

Сквозь бурную чувственную муть я увидел, наконец, ее тело с напряженными мускулами под блестящей кожей ее рук. Она легла на спину, заложив руки за голову, без малейшего проявления стыдливости, и смотрела в мое лицо непостижимо спокойными глазами, – это казалось мне почти невероятным. Даже потом, когда я испытал – и это было первый раз в моей жизни – необъяснимое соединение чисто душевного чувства с физическим ощущением, заливающим все мое сознание и все, решительно все, даже самые далекие мускулы моего тела, и когда она сказала с совершенно не подходившей, казалось бы, здесь медлительной интонацией: ты мне делаешь больно, – в которой не было ни жалобы, ни протеста, и еще через некоторое время, когда она вздрагивала спазматической дрожью, ее глаза были все так же, почти мертво, спокойны. Только в самую последнюю секунду они вдруг показались мне далекими, как некоторые звуки ее голоса.

Ее нельзя было назвать – по крайней мере, по отношению ко мне – замечательной любовницей, у нее были медлительные физические реакции, и последние секунды объятий нередко заставляли ее испытывать какую-то внутреннюю боль, – и тогда глаза ее закрывались и лицо делало невольную гримасу. Но ее отличие от других женщин заключалось в том, что она вызывала крайнее и изнурительное напряжение всех сил, и душевных, и физических, – и в смутном ощущении того, что близость с ней требует какого-то безвозвратно-разрушительного усилия, в безошибочности этого предчувствия состояла, я думаю, ее непреодолимая притягательность. И после первого ощущения ее физической близости я знал уже с совершенной невозможностью ошибиться, что этого я не забуду никогда и что, может быть, это будет последним, о чем я вспомню, умирая. Я знал это заранее и знал, что, как бы ни сложилась моя жизнь, ничто не спасет меня от непоправимо-тягостного сожаления об этом, потому что все равно это исчезнет, поглощенное смертью ли, временем ли или расстоянием, и внутренне ослепительная сила этого воспоминания займет в моем существовании слишком большое душевное пространство и не оставит места для других вещей, которые еще, может быть, были мне суждены.

Была уже глубокая ночь, Елена Николаевна не могла скрыть своей усталости. Я чувствовал себя как в лихорадке, глаза мои были воспалены, и мне казалось, что я испытываю ощущение какого-то незримого ожога. Я ушел в четвертом часу утра; была холодная и звездная ночь. Мне хотелось пройтись, я шагал по пустынным улицам, – и тогда, тоже впервые за всю мою жизнь, я почувствовал состояние необыкновенно прозрачного счастья, и даже мысль о том, что это может быть обманчиво, не мешала мне. Я запомнил дома, мимо которых я проходил, и вкус зимнего холодного воздуха, и легкий ветер из-за поворота, – все это были вещи, которые сопровождали мое чувство. Я испытывал именно ощущение прозрачного счастья, казавшееся особенно неожиданным после того, как я несколько часов видел перед собой эти спокойные глаза, в выражении которых для меня было нечто унижительное, потому что мне не удалось изменить его.

И когда я проснулся на следующий день, то, что меня окружало и к чему я так привык, весь мир людей и вещей, в котором обычно проходила моя жизнь, – все показалось мне изменившимся и иным, как лес после дождя.

Я расстался с ней почти на рассвете, – и на следующий день в час пополудни я снова подходил к подъезду ее дома. Я не мог бы объяснить, что именно изменилось за эту ночь, но мне было ясно, что я никогда не видел такими ни rue Octave Feuillet, ни avenue Henri Martin, ни дом, в котором она жила. Это все – каменные стены, деревья без листьев, ставни домов и ступени лестниц, – все, что я знал так хорошо и так давно, все это теперь приобрело новый, до сих пор не существовавший смысл, так, точно служило декорацией к единственной и, конечно, самой лучшей пьесе, которую могло создать человеческое воображение. Это могло быть похоже на декорацию. Это могло быть похоже еще на нечто вроде зрительной увертюры к начинающейся – и тоже, конечно, самой лучшей – мелодии, которую из миллионов людей слышал я один и которая была готова возникнуть в ту минуту, когда передо мной отворится дверь на втором этаже, такая же, как тысячи других дверей, и все-таки единственная в мире. Мне казалось тогда, – и весь мой опыт, и все, что я знал, видел и понял, и все истории измен, несчастий, драм, и трагическая неверность всего существующего были бессильны что-либо нарушить в этом, – мне казалось тогда, что произошло то, чего я так тщетно ждал всю мою жизнь и чего не мог бы понять ни один человек, кроме меня, потому что никто не прожил именно так, как я, и никто не знал именно того соединения вещей, которое было характерно для моего существования. Мне казалось, что если бы в истории моей жизни не хватало какой-нибудь одной подробности, то мое ощущение счастья и мое понимание его не могли бы быть такими полными. Мне все казалось одновременно и совершенно несомненным, и столь же невероятным. Когда я шел по avenue Victor Hugo, мне вдруг показалось, что всего этого не может быть, и я ощутил нечто вроде душевного головокружения – как будто это страница из детской книжки о чудесных исчезновениях.

Анни сказала мне, что Madame сейчас выйдет, и провела меня в столовую. Небольшой стол был уже накрыт, на нем стояло два прибора и бокалы для вина – и в одном из них, точно наполняя его невидимой и прозрачной жидкостью, играла световая тоненькая струйка; я вспомнил тогда, что была солнечная зимняя погода. Я сидел в кресле и курил папиросу. Я заметил, что курю папиросу, только в ту минуту, когда упавший пепел обжег мою руку и попал мне в рукав.

Елена Николаевна вошла в комнату за несколько секунд до того, как Анни стала подавать завтрак. Перед этим она только что приняла ванну и не дала себе труда одеться. Она была в купальном халате, волосы ее были зачесаны назад, и это придавало ее лицу особенную четкость очертаний и одновременно с этим выражение душевной и физической уюта, неожиданное и приятное. Она спросила меня с иронической нежностью в голосе, хорошо ли я спал и есть ли у меня аппетит. Я ответил утвердительно, не сводя с нее глаз. Она тоже изменилась, как все, что я видел вокруг себя, с ее лица исчезло то выражение отчужденности, которое я знал до сих пор. Когда она наклонилась над столом, я увидел крупную родинку под ее правой ключицей, – и по мне сразу прошла теплая волна благодарности и нежности к ней, и тогда я поймал ее остановившийся взгляд.

– О чем ты думаешь? – спросил я.

– О том, что мы с тобой так недавно знакомы и что вот, мне кажется, я никогда не знала никого, кто был бы мне ближе, чем ты.

Потом она прибавила:

– Я не всегда буду говорить тебе такие вещи, так что лучше не привыкай.

Она налила в бокалы вино – какое-то особенное, душистое и крепкое, и как ни плохо я разбирался в винах, даже я не мог не заметить, что оно, вероятно, очень хорошее, – и сказала:

– За что мы с тобой выпьем?

– За то, чтобы мы не привыкли, – сказал я.

Она покачала головой, и мы молча выпили. И несмотря на то, что это был, в сущности, обыкновенный завтрак с женщиной, которую я встретил неделю тому назад и которая вчера стала моей любовницей, и точно так же, как она не была первой или единственной в моей жизни, так я не был ее первым или единственным любовником; несмотря на то, что внешне во всем этом не было, казалось бы, ничего исключительного или необыкновенного, это звучало почти торжественно, как слова, которые произносят, может быть, один раз в жизни, отправляясь на войну или уезжая навсегда.

После завтрака мы сидели с ней очень долго за кофе. В солнечном свете, проникавшем через окно, вились и исчезали струи папиросного дыма. Она так и осталась в купальном халате, и когда я ей заметил это, она ответила с улыбкой:

– Я никого не жду, мне не для кого одеваться. Что касается тебя, то мне кажется, что ты предпочитаешь меня даже без купального халата, и все вообще так нетрудно предвидеть. Нет, подожди, – сказала она, видя, что я сделал движение, чтобы подняться с кресла. – Подожди, я здесь, я никуда не уйду, и у меня нет желания уходить от тебя. Но я хотела поговорить с тобой. Расскажи мне, как ты жил до сих пор, кого ты любил и как ты был счастлив.

– Я не знаю, с чего начать, – сказал я. – Это сложно, долго и противоречиво. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я думаю, что именно сегодня по-настоящему начинается жизнь, мне кажется, что мне немногим больше шестнадцати лет и что тот человек, который знает столько трагических и печальных вещей, тот, который вчера ночью засыпал на моей кровати, мне чужд и далек, и я не понимаю ни его душевной усталости, ни его огорчения. И каждую ночь, засыпая, я чувствую себя так, точно я прожил очень долгую жизнь и все, что я из нее вынес, это отвращение и груз долгих лет. И вот идет день, и по мере того, как он подходит к концу, эта отравка душевной усталости все глубже и глубже проникает в меня. Но это, конечно, не рассказ о моей жизни. Это я говорю тебе о том, как я себя чувствовал обычно вплоть до того вечера, когда у тебя не оказалось – к счастью – билета на матч.

– Ты сравнительно молод и совершенно, по-моему, здоров, – сказала она. – И что бы ты мне ни говорил, я плохо верю в твою душевную усталость. Если бы ты сам мог видеть себя в некоторые минуты, ты бы понял, почему твои слова об усталости звучат так неубедительно.

– Я никогда не говорил, что я могу ощущать душевную усталость по отношению к тебе. И когда я вижу тебя...

– То это так, как если бы это было утро?

– То это так, как если бы это было утро.

– Но мы уклоняемся от главного, – сказала она. – Где ты родился, где ты рос, куда и почему ты уехал и как твоя фамилия? – потому что до сих пор я знаю только твое имя. Где ты учился и учился ли ты вообще?

– Да, – сказал я. – Вероятно, напрасно, но учился я долго и довольно разным вещам.

И я стал рассказывать ей о себе. Мне казалось, что никогда до этого дня моя собственная судьба не была мне так ясна, как теперь. Я нашел в своих воспоминаниях много такого, чего я раньше не замечал, какие-то почти лирические вещи, – и я только смутно чувствовал, не переставая говорить, что, если бы не было Елены Николаевны, я бы, наверное, не сумел обрести их внезапно возникшую силу и свежесть, которой, быть может, даже вообще не существовало вне мысли о ней и вне присутствия рядом со мной этой женщины в купальном халате, с гладко причесанными волосами и далеким взглядом задумчивых глаз.

– Ты меня извинишь, если в моем рассказе не будет строгой хронологической последовательности? – сказал я.

Она кивнула головой. Я говорил ей в тот день о многом: о войне, о России, о путешествиях, о своем детстве. Передо мной возникали самые разные люди, которых я знал: учителя, офицеры, солдаты, чиновники, товарищи, – и целые страны проходили перед моими глазами. Я

вспоминал субтропические пейзажи, ровные квадраты коричневой земли, белые узкие дороги и далеко слышимый в жарком и неподвижном воздухе скрип бедной деревянной телеги; печальные глаза маленькой и худой, как скелет, коровы, запряженной рядом с ослом в соху, которой греческий крестьянин в темно-сером суконном бурнусе и белой войлочной шляпе пахал жесткую землю; и то, что в Турции расстояние измеряют временем – до такого-то места не столько-то километров, а столько-то часов ходьбы; ледяные ветры средней России и упругий хруст снега под ногами, потом моря, и реки, и диких уток над Дунаем, потом пароходы и поезда – все, через что шло необъяснимое движение моей жизни. Затем я опять вернулся к войне и к этим тысячам трупов, которые я видел, – и вдруг вспомнил речь моего учителя русского языка, которую он сказал на выпускном акте:

– Вы начинаете жить, и вам придется участвовать в том, что называется борьбой за существование. Грубо говоря, есть три ее вида: борьба на поражение, борьба на уничтожение и борьба на соглашение. Вы молоды и полны сил, и вас, конечно, притягивает именно первый вид. Но помните всегда, что самый гуманный и самый выгодный вид – это борьба на соглашение. И если вы из этого сделаете принцип всей вашей жизни, то это будет значить, что та культура, которую мы старались вам передать, не прошла бесследно, что вы стали настоящими гражданами мира и что мы, стало быть, тоже не даром прожили на свете. Потому что, если бы это оказалось иначе, это значило бы, что мы только потеряли время. Мы старые, у нас нет больше сил создавать новую жизнь, у нас остается одна надежда – это вы.

– Я думаю, что он был прав, – сказал я. – Но, к сожалению, мы не всегда имели возможность выбирать тот вид борьбы, который мы считали наилучшим.

– Ты сохранил хорошие воспоминания о твоих учителях?

Мы сидели с ней на диване, я обнимал ее правой рукой, и сквозь мохнатый халат я чувствовал теплоту ее тела.

– Нет, далеко не обо всех, – сказал я и улыбнулся, потому что подумал об одном из священников, который преподавал нам Закон Божий уже в старших классах; это был высокий рассеянный человек в лиловой шелковой рясе. Он говорил скучающим голосом:

– Существует много доказательств бытия Божия. Есть доказательство юридическое, есть доказательство логическое, есть доказательство философское.

Потом он задумался на минуту и прибавил:

– Есть даже доказательство математическое, но я его забыл.

– Где ты поступил в университет? В Париже?

– Да, и это было не так просто.

И я рассказал ей, что мне нужно было получить у бывшего русского консула бумагу, которую мог мне выдать только он и которая заменяла метрику. Это был маленький сердитый старичок с огромной седой бородой, который мне сказал:

– Ничего я вам не дам. Откуда я знаю, кто вы такой? Может быть, вы профессиональный преступник, может быть, убийца, может быть, бандит. Я вас вижу первый раз в жизни. Кто вас знает в Париже?

– Никто, – сказал я. – Здесь у меня есть несколько товарищей, с которыми я учился, но они все такие же, как я, никто из них вам лично не известен, и ничто вам не мешает предположить, что каждый из них тоже профессиональный преступник и убийца и еще к тому же мой сообщник.

– Зачем вам эта бумага?

– Я хотел бы поступить в университет.

– Вы? В университет?

– Да, если вы все-таки дадите мне эту бумагу.

– Для этого, батюшка, надо иметь среднее образование.

– У меня есть аттестат зрелости.

– И по-французски знать надо.

– Я знаю.

– Где же вы могли научиться?

– Дома, в России.

– Бог вас знает, – сказал он с сомнением, – может быть, вы и не бандит, я ведь этого не утверждаю категорически, у меня нет для этого фактических данных. Покажите-ка мне ваш аттестат.

Он просмотрел его, потом вдруг спросил:

– Почему средние отметки по алгебре и тригонометрии? а?

– У меня нет склонности к так называемым точным наукам.

– Ну хорошо, дам я вам бумагу. Но смотрите, на вашу ответственность.

– Хорошо, – сказал я, – если меня арестуют и посадят в тюрьму, обещаю на вас не ссылаться.

Я смеялся, вспоминая этого старичка, и она смеялась вместе со мной, и всей кожей моей руки я чувствовал, как вздрагивало ее тело. Потом она встала, посмотрела на меня, как мне показалось, с упреком, задернула шторы, и комната стала темно-серой. И в наступившей темноте до меня только доходила музыка из верхней квартиры, где кто-то играл на рояле, очень отчетливо и медленно, и было впечатление, что в жидкое стекло падают, одна за другой, огромные звуковые капли.

Я не мог не заметить, что главным отличительным признаком моего отношения к ней было то, что не существовало, казалось, ни одной минуты, в течение которой я не испытывал бы постоянного обостренного чувства. Если это не было желание ее близости, то это была нежность, если это не была нежность, то это была целая последовательность других чувств или душевных состояний, для определения которых я не знал ни слов, ни возможности найти эти слова. Во всяком случае, ее существованию я был обязан возникновением мира, которого не знал до сих пор. Я не представлял себе, что значит физическая близость женщины, – мне было странно подумать, что я мог бы сравнить это с моими прежними романами. Я знал, что каждая любовь, в сущности, неповторима, но это было очень схематическое и приблизительное утверждение; при сколько-нибудь внимательном отношении к этому сходство всегда можно было найти, неповторимость заключалась в некоторых случайных оттенках некоторых случайных интонаций. Теперь это было другое, не похожее на предыдущее, и во всем своем душевном опыте я не находил ничего, что напоминало бы мне мое теперешнее состояние. Мне казалось, что после разрушительного усилия этой любви у меня не осталось бы сил ни на какое другое чувство и я ничто, наверное, не мог бы сравнить с этим нестерпимым воспоминанием. Где бы я ни был и что бы я ни делал, мне было достаточно задуматься на несколько секунд, чтобы передо мной появилось ее лицо с далекими глазами, ее улыбка, в которой было такое наивное бесстыдство, как если бы она стояла совершенно голая. И вместе с тем, несмотря на всю силу моего физического тяготения к ней, это было не похоже на самую бурную страсть, потому что в этом, как мне казалось, всегда проходила струя ледяной чистоты и какой-то удивительной и нехарактерной для меня бескорыстности. Я не знал, что был способен к таким чувствам; но я полагаю, что они были возможны только по отношению к ней – и в этом заключалась для меня ее настоящая неповторимость и замечательность.

Как всегда в моей жизни, всякий раз, когда передо мной возникало нечто новое, я не мог сказать, что именно вызвало его из небытия. Думая о том, что, собственно, в Елене Николаевне создавало ее непреодолимую для меня притягательность, я не находил ответа. Я знал женщин, которые были красивее ее, я слышал голоса более мелодичные, чем ее голос; неподвижное ее лицо и унизительно-спокойные глаза могли бы, казалось, произвести на меня скорее тягостное впечатление. Она была почти лишена той душевной теплоты, которую я так ценил, в ней почти не было нежности, или, вернее, она проявлялась чрезвычайно редко и всегда как будто нехотя.

В ней не было никакой «очаровательности», это понятие совершенно не подходило к ней. И все-таки именно она была неповторима и замечательна в моем представлении, и этого ничто не могло изменить.

Ее нельзя было назвать скрытной; но длительное знакомство или тесная душевная близость были необходимы, чтобы узнать, как до сих пор проходила ее жизнь, что она любит, чего она не любит, что ее интересует, что ей кажется ценным в людях, с которыми она сталкивается. Мне очень долго не приходилось слышать от нее каких бы то ни было высказываний, которые бы ее лично характеризовали, хотя я говорил с ней на самые разные темы; она обычно молча слушала или отвечала односложно. За много недель я узнал о ней чуть больше, чем в первые дни. Вместе с тем, у нее не было никаких причин скрывать от меня что бы то ни было, это было просто следствие ее природной сдержанности, которая не могла не казаться мне странной. Когда я ее спрашивал о чем-нибудь, она не хотела отвечать, и я этому неизменно удивлялся, она замечала:

– Не все ли тебе равно?

Или:

– Какой это может иметь интерес?

А меня интересовало все, что ее касалось, и мне хотелось знать, что было с ней до нашей встречи.

Для нее была характерна своеобразная душевная медлительность, не соответствовавшая быстроте и точности ее движений вообще, ее стремительной походке, мгновенности и безошибочности ее физических рефлексов. Только в том, что представляло из себя неопределимое соединение душевного и физического, например в любви, только в этом нарушалась обычно безупречная гармония ее тела, и в этом случайном несовпадении для нее всегда было нечто почти мучительное. То впечатление странной дисгармонии, почти анатомической, которую я заметил в ней в вечер нашей первой встречи, именно сочетание высокого и очень чисто очерченного лба с этой жадной улыбкой, – не было случайным. В ней был несомненный разлад между тем, как существовало ее тело, и тем, как, вслед за этим упругим существованием, медленно и отставая, шла ее душевная жизнь. Если бы это можно было разделить – и забыть об этом, она была бы совершенно счастлива. Любовь к ней требовала постоянного творческого усилия. Она никогда не делала ничего, чтобы произвести то или иное впечатление; она никогда не думала, как подействуют слова, которые она говорит. Она существовала сама по себе, ее чувства к другим были продиктованы или физическим тяготением, столь же несомненным, как желание спать или есть, или каким-то душевным движением, похожим на душевные движения большинства людей, с той разницей, что ни в каком случае она не поступала иначе, чем ей хотелось. Желания других играли для нее роль только тогда или только до тех пор, пока совпадали с ее собственными желаниями. Меня поразила чуть ли не с первых же дней ее душевная небрежность, ее безразличие к тому, что о ней подумает ее собеседник. Но она любила, холодной и упорной любовью, опасные и сильные ощущения.

Такова была ее природа – и изменить это, я думаю, было чрезвычайно трудно. И все-таки, по мере того как проходило время, я начал замечать в ней некоторые проявления человеческой теплоты, она как будто понемногу оттаивала. Я подолгу расспрашивал ее обо всем, она отвечала мне сравнительно редко и сравнительно немногословно. Она рассказала мне, что выросла в Сибири, в глухой провинции, где проживала до пятнадцати лет. Первый город, который она увидела, был Мурманск. У нее не было ни братьев, ни сестер, ее родители погибли в море: во время путешествия из России в Швецию их пароход взорвался на плавучей мине. Ей было тогда семнадцать лет, она жила в Мурманске. Вскоре после этого она вышла замуж за американского инженера, того самого, о скоростной смерти которого она получила телеграмму в Лондоне, год тому назад. Она объяснила мне, что он понравился ей тогда потому, что у него была седая прядь волос, и еще оттого, что он был хорошим лыжником и конько-

бежцем и очень интересно рассказывал об Америке. Вместе с ним она уехала из России; это было приблизительно в то время, когда на другом конце этой огромной страны, в томительном безумии гражданской войны, я блуждал по раскаленным южным степям с выжженной травой, под высоко стоявшим солнцем. Она рассказывала о кругосветном плаванье, о том, как трансатлантический пароход, на котором она ехала, проходил ночью Босфор, потом Мраморное и Эгейское моря, как было жарко и как она танцевала фокстрот. Я вспомнил эти ночи и их особенный темный зной и то, как я сидел часами на высоком берегу Дарданелльского пролива и смотрел из душной тьмы на эти огни огромных пароходов, проходивших так близко от меня, что я слышал музыку их оркестров и следил за медленно удалявшимися рядами освещенных иллюминаторов, которые, по мере того как пароход уходил, сливались в одно сначала сверкающее, потом тускнеющее и, наконец, туманное световое пятно. Я думаю, что, может быть, я видел и ее пароход и следил за ним с тем же жадным и слепым напряжением, в котором я находился тогда, все эти первые годы моего пребывания за границей.

Она прожила много лет интересной жизни, полной неожиданных событий, путешествий, встреч, нескольких «неизбежных», как она сказала, романов. Она была в Австрии, Швейцарии, Италии, Франции и Америке, в каждой из этих стран она провела довольно много времени. В Англию она приехала впервые два с половиной года тому назад.

– После этого все было просто, – сказала она.

– Просто – это значит – Париж, rue Octave Feuillet, матч Джонсон – Дюбуа и так далее?

Между прочим, на что ты рассчитывала, не имея входного билета? На барышников?

– На барышников – или на случайность. Как видишь, я не ошиблась.

– Результаты матча превзошли твои ожидания?

– В некоторых отношениях – да.

Чем больше я ее узнавал, тем больше я привыкал к неестественному разделению между душевной и физической жизнью, которое было для нее так характерно. Вероятно, это разделение существовало в ней всегда, но теперь в нем было нечто почти болезненное, и мне неоднократно приходила в голову мысль, что данному периоду ее существования должно было предшествовать какое-то потрясение, о котором я ничего не знал и о котором она, в свою очередь, избегала упоминать. Жизнь с ней заключала в себе два резко различных романа: чувственное сближение, в котором все было вообще естественно, и душевная близость, бесконечно более трудная, более медленная и которой могло совсем не быть. Первоначальное суждение о том, что происходит, – у всякого человека, который стал бы ее любовником, – неизбежно должно было быть ошибочным; эти ошибки были бы тем более несомненны, что они были бы совершенно естественны. Я неоднократно представлял себе их последовательность. Первая состояла бы в представлении, что то или иное развитие событий зависит от этого человека. На самом деле выбор всегда исходил от нее, и не только выбор, но даже то трудноуловимое первое движение, которое определяет начало романа и в котором нередко заключено все, что произойдет в дальнейшем. Но эта ее особенность, конечно, не являлась чем-то исключительным: в очень многих случаях, как я это всегда знал, и завязка, и развязка романа зависели именно от женщины. Вторая ошибка состояла бы в том, что это можно было бы считать чем-то окончательным. В действительности это не значило ничего или почти ничего и могло прекратиться в любую минуту, без всякого объяснения и без какой бы то ни было возможности возобновления. И третья, самая главная, – это что только через много времени и только в случае редкого и счастливого совпадения начинался, наконец, настоящий роман, который, – если бы судить по внешним признакам, – давно уже был свершившимся фактом. Я долго искал сравнения, которое могло бы это характеризовать, и все не находил: это, пожалуй, могло бы быть похоже на прикосновение к холодным губам, которые медленно согреваются и лишь потом приобретают свою утерянную горячую прелесть – или не приобретают ее вообще и оставляют воспоминание ледяной неудовлетворенности и напрасного сожаления о том, что могло бы быть и чего

не было. Но самым неизменным в отношении к ней было то бессознательное и неизбежное напряжение всех душевных сил, вне которого близость с ней могла быть только случайной и эпизодической. Это вовсе не зависело от ее чрезмерной требовательности, но получалось само собой и даже, казалось бы, помимо ее желания. Во всяком случае, это было так и, по-видимому, не могло быть иначе. И из немногих ее признаний нетрудно было вывести заключение, что так думали, вероятно, все, кто ее близко знал, с большей или меньшей степенью правильности.

Вспоминая много позже мою встречу с ней и то, как все началось, мне было легче это восстанавливать, закрывая глаза и сознательно и условно исключая из этого содержание нашего первого разговора в кафе, расставание под дождем и вообще вещи, сущность которых укладывалась бы в связный рассказ. Явственнее, чем когда-либо в моей жизни, я чувствовал, что все это сводилось к слепому и темному движению, к последовательности зрительных и слуховых впечатлений, одновременно с которыми неудержимо развивалось бессознательное мускульное тяготение. Торс Джонсона, рухнувший Дюбуа, прикосновение моих пальцев к ее руке, когда я помогал ей войти в автомобиль, вообще эта немая мелодия кожи и мышц, этот встречный толчок ее тела, в котором она, быть может, даже не успела отдать себе отчет, – именно это было главным и именно это предопределило дальнейшее. Что она знала обо мне в тот туманный февральский вечер, почему после этого она ждала моего телефонного звонка неделю? Когда она в первый раз улыбнулась мне этой своей жадной улыбкой, такой неожиданной, я знал уже, что она будет мне принадлежать, а она это знала раньше, чем я. И, конечно, этому предшествовало крушение всего того мира отвлеченных вещей, который пренебрегал примитивными и чисто физическими понятиями и где своеобразная философия жизни, построенная на предварительном отказе от преобладающего значения материалистических моментов, была несравненно важнее, чем любые чувственные реакции, – этого мира, который в тот вечер мгновенно растворился в этом безмолвном мускульном движении. Когда я сказал как-то об этом Елене Николаевне, она ответила с улыбкой:

– Может быть, потому, что без философии мы бы все-таки прожили, а если бы не было другого, о котором ты говоришь, то человечеству угрожало бы исчезновение, в той или иной форме.

Я нередко чувствовал себя несвободным в ее присутствии, особенно первое время. Я очень скоро убедился, что ее реакции на все происходящее были не такими, как у большинства других женщин. Для того чтобы ее рассмешить, например, нужны были не те вещи, которые смешили всех; для того чтобы вызвать в ней проявление какого-нибудь чувства, надо было сначала найти для этого особенный путь, не похожий на обычный. И на это сложное перестраивание того эмоционального мира, в котором проходила моя близость с ней, мне понадобилось много времени и много усилий. Но я жил теперь, наконец, настоящей жизнью, которая не состояла наполовину – как это всегда было до сих пор – из воспоминаний, сожалений, предчувствий и смутного ожидания.

Мы часто и подолгу гуляли с ней по Парижу; она знала его поверхностно и плохо. Я показывал ей настоящий город, не тот, о котором писалось в иллюстрированных журналах и который был неизменным в представлении иностранцев, приезжающих сюда раз в год на две недели. Я показывал ей нищие рабочие кварталы, провинциальные, отдаленные от центра улицы, постройки на окраинах, некоторые набережные, Севастопольский бульвар в четыре часа утра. Я помню, с каким удивлением она смотрела на rue St. Louis en l'Île, – и действительно, было трудно себе представить, что в том же городе, где существуют avenues, отходящие от площади Étoile, может находиться этот узкий и темный проход между двумя рядами бесконечно старых домов, пропитанных вековой затхлостью, против которой была бессильна всякая цивилизация. Была уже поздняя весна – и тогда, после долгого холода зимы и всех ее печальных пейзажей, не уезжая никуда, мы увидели другой Париж: прозрачные ночи, далекое красное зарево над Монмартром и сплошные каштановые деревья на бульваре Араго, куда мы

почему-то попадали несколько раз подряд. Я шел, держа ее за талию, и она мне сказала ленивым и спокойным голосом, без малейшего оттенка протеста:

– Ну, милый мой, ты ведешь себя, совершенно как апаш.

Иногда, перед возвращением домой, мы заходили в ночное кафе или бар, и она удивлялась тому, что, в каком бы районе это ни происходило, я знал в лицо всех гарсонов и всех женщин, сидевших на табуретах у стойки и ожидавших очередного клиента. Она пила только крепкие напитки, у нее была необыкновенная сопротивляемость опьянению, объяснявшаяся, я думаю, долгой тренировкой и пребыванием в англосаксонских странах. Только выпив довольно значительное количество алкоголя, она становилась не такой, какой бывала обычно, и ее непременно начинало тянуть туда, куда не нужно. – Поедем на Бастилию, в *bal musette*<sup>15</sup>, я хочу посмотреть на *gens du milieu*<sup>16</sup>. Поедем на *gue Blondel*, в знаменитый публичный дом. – Это неинтересно, Леночка. – А где здесь собираются педерасты? Ты это должен знать, какой же ты журналист, если ты этого не знаешь? Поедем, я тебя прошу, я так люблю педерастов. – Вот мы поедем, и меня ранят ножом, что ты тогда будешь делать? – Не надо настраивать себя на такой напрасно-героический лад, никто тебя не ранит, это вообще плохая литература. – Иногда ей приходили в голову совершенно дикие мысли. Я помню, как она однажды расспрашивала меня, где ночью можно купить конфет. Не подозревая ее подлинных намерений, я сказал ей это. Мы были в такси, она велела шоферу ехать туда и вышла из магазина с руками, полными мешочков конфет.

– Что ты со всем этим будешь делать?

– Мой милый, – сказала она совершенно не свойственным ей нежным голосом, по которому я услышал, что она была совсем пьяна – до тех пор это не было внешне заметно. – Я тебя поцелую, я сделаю все, что ты захочешь, но ты должен исполнить мою маленькую просьбу.

– Кажется, дело плохо, – сказал я, думая вслух.

– Вот такую маленькую, – продолжала она, показывая ноготь своего мизинца. – Ты должен знать, я уверена, что ты знаешь, в каком районе Парижа есть девочки-проститутки от десяти до пятнадцати лет.

– Нет, я не имею об этом представления.

– Ты хочешь, чтобы я расспрашивала шофера? Ты будешь в глупом положении.

– Но зачем тебе эти девочки?

– Я хочу им раздать конфеты. Ты понимаешь, это будет им приятно.

Мне удалось отговорить ее от этого с большим трудом. Но иногда она настаивала так, что мне предоставлялся только выбор – либо удержать ее силой, либо уступить; и, таким образом, мы побывали почти всюду, где ей хотелось, и я заметил, что все эти места ее не очень, в сущности, интересовали. Она просто давала волю какому-то своему неожиданному желанию, но как только оно становилось легкоисполнимым, оно теряло для нее значительную часть соблазнительности. Она была готова на все ради сильных ощущений. Но сильных ощущений не было, были только в одном случае сутенеры в светло-серых кепках, относившиеся с почтительной боязнью к полицейским, дежурившим у входа в *bal musette*, в другом – голые полноватые женщины с вялыми телами и мертвенно-животной глупостью в глазах, в третьем – подведенные молодые люди с развинченной походкой и каким-то необъяснимым налетом душевного сифилиса на лице. И она говорила:

---

<sup>15</sup> Танцзал, дансинг (фр.).

<sup>16</sup> Городское дно (фр.).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.